

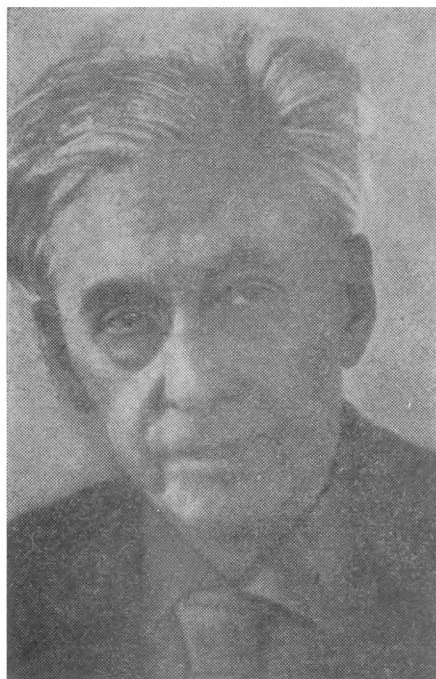
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ * СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЛЬЯ
ЭРЕНБУРГ

СТИХО-
ТВОРЕН-
ИЯ

ИЛЪЯ
ЭРЕНБУРТ

•
СТИХО-
ТВОРЕ-
НІЯ



ИЛЬЯ
ЭРЕНБУРГ



СТИХО-
ТВОРЕ-
НИЯ

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1982

Текст и вступительная статья С. С. Наровчатова (с сокращениями) печатаются по изданию: Илья Эренбург. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1977. (Б-ка поэта. Большая серия).

Составление и примечания Г. А. Белой
Художник М. К. Шевцов

Эренбург И. Г.
Э76 Стихотворения/Сост. и примеч. Г. А. Белой.— М.: Сов. Россия, 1982.—176 с., 1 л. портр.

На протяжении своего творческого пути Илья Григорьевич Эренбург (1891—1967) многократно обращался к поэзии. В настоящий сборник вошли стихотворения разных лет. Здесь и ранние поэтические опыты, в значительной степени экспериментальные по форме, носящие на себе следы различных поэтических влияний, и произведения, написанные в годы Гражданской войны в Испании и Великой Отечественной войны, непосредственно перекликающиеся с прославленной публицистикой И. Эренбурга военных лет; здесь и стихи последнего периода, тонкие лирико-философские миниатюры, раздумья поэта о жизни, творчестве, Родине и народе, об истории и судьбах людей, обращения к новым поколениям.

Э 4702010200—214
М-105[03]82 154—82

P2

© Издательство «Советская Россия», 1982 г.,
составление, примечания.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — ПОЭТ

1

Илья Эренбург вошел в наше сознание прежде всего как прозаик и публицист. Сравнительно узкий круг читателей знает его как поэта. Между тем при жизни писателя вышло в свет свыше двадцати сборников его стихотворений. В каждом из них, как правило, помещались только новые стихи. Сам Эренбург своему поэтическому творчеству придавал серьезное значение. Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что ощущал он себя больше поэтом, чем прозаиком. Люди, близко знавшие его, помнят, что лучшим путем к его сердцу было чтение стихов или разговор о поэзии.

Человек широчайшего кругозора, объездивший весь свет, встречавшийся со множеством людей, Илья Эренбург в своей поэзии отнюдь не ошеломляет читателя перечнем стран, имен, происшествий. Его стихи — большей частью — исповедь очевидца и участника событий. Таких событий немного, но каждое из них вбирает целую эпоху. Собственно говоря, это четыре войны: первая мировая, гражданская, испанская, вторая мировая. В этой трагичной последовательности тишина мировых передышек лишь подчеркивает громохание военных колесниц. Постоянный мотив поэзии Эренбурга — сопоставление двух взаимоисключающих понятий: мира и войны. Соединяет их печальная нота разлуки.

Когда я был молод, была уж война,
Я жизнь свою прожил — и снова война.
Я все же запомнил из жизни той громкой
Не музыку марша, не грозы, не бомбы,

А где-то в рыбацком селенье глухом
К скале прилепившийся маленький дом.
В том доме матрос расставался с хозяйкой,
И грустные руки метались, как чайки.
И годы, и годы мерещатся мне
Все те же две тени на белой стене.

(«Когда я был молод, была уж война...»)

В событиях, определявших время, Илья Эренбург был действующим лицом, и это неизбежно должно было отразиться в его поэзии. И отразилось! Никогда он не скрывал своих пристрастий. Противник империалистической войны в первую мировую, яростный борец с фашизмом в испанскую и вторую мировую войны — таким выступает Илья Эренбург в разные годы своей жизни и творчества.

Эренбург — романист и публицист в известной мере заслонил Эренбурга-поэта. Между тем свой творческий путь он начинал именно со стихов. И первое осмысление жизни было у него поэтическим. Это обстоятельство надо все время иметь в виду. Далеко не случайно также, что наиболее зрелые стихи написаны им во второй половине жизни. Поэзия как бы обрамляет творчество писателя.

Первые стихи он опубликовал в 1910 году, хотя сочинять, естественно, начал намного раньше. В 1911 году вышел его первый сборник стихов «Я живу». За ним последовали «Будни» и «Детское», изданные в 1913 и 1914 годах. «Стихи о канунах», вышедшие в 1916 году, были пронизаны антивоенными мотивами и ожиданиями социальных потрясений. Годы революции и гражданской войны Эренбург встречает книгами стихов «Молитва о России» (1918) и «Огонь» (1919). Осмысление тех же пламенных лет пронизывает поэтические сборники «Кануны» и «Раздумья», изданные в 1921 году, книги «Зарубежные раздумья» и «Опустошающая любовь», опубликованные в 1922 году.

В следующие годы проза и публицистика оттесняют, а потом и вовсе вытесняют поэзию из творческого обихода писателя. Последние его стихи перед долголетним перерывом помечены 1923 годом. Конечно, этот перерыв заполнен значительными литературными и общественными свершениями, создавшими Эренбургу широкую известность, но для исследователя поэзии здесь невосполнимый пробел.

Начиная с испанской войны, вместе и рядом с прозой, публицистикой, воспоминаниями, Эренбург пишет стихи. Поэзия снова становится его неразлучной спутницей, которой он доверяет самые сокровенные свои мысли и чувства. Ни один исследователь творчества писателя не может пройти мимо этой стороны его литературной деятельности. В жизни Эренбурга поэзия служит как бы камертоном, по которому настраивается вся духовная сущность писателя.

2

Первые стихи юный Эренбург сочинял в тревожное и трудное время, последовавшее за подавлением русской революции.

Молодыми поэтами, за редкими исключениями, владеет жажда оригинальности. Парадокс поэзии заключается, однако, в том, что чем сильнее эта жажда, тем труднее ее утолить. На неокрепшем таланте молодого поэта сказывается множество влияний. Не только поэтических, но и общественных, социальных, философских. Нужно обладать очень могучим даром, чтобы уже в самые ранние годы обрести полную своеобычность мысли и чувства. Таких поэтов в мировой литературе считанные единицы. И юный Эренбург к ним не принадлежал. Его ранние стихи колышутся из стороны в сторону символическими, акмеистическими, футуристическими веяниями. Часто они захлестываются богоискательскими и анархическими струями. На склоне лет сам

Эренбург назовет их ученическими и подражательными.

Показательно, однако, что под всей этой стилистической и вкусовой мешаниной нащупывались живые корни, прораставшие в подлинную поэзию и в истинное искусство. Напрасно было бы искать строгую идею, определяющую творчество юного поэта. Здесь пока еще путаница, но перспективные линии можно наметить и теперь. Это антибуржуазность, любовь к родной стране, предчувствие социальных катастроф и перемен.

Ненависть к миру насилия и грабежа привита была Эренбургу еще в большевистских кружках. До конца дней помнил он свое заключение в тюремной одиночке: недели, проведенные там, стали таким курсом социального обучения, перед которым далеко отступал гимназический курс.

Антибуржуазность многих стихов раннего Эренбурга, конечно, несет явственные черты модернистских влияний, но в основе ее лежит естественное и незаимствованное чувство.

Юноша-эмигрант болезненно переносит разлуку с Россией. В яростном отталкивании от чужого духа буржуазности обостряется чувство ностальгии:

И до утра над Сеною недужной
Я думаю о счастье и о том,
Как жизнь прошла бесследно и ненужно
В Париже непонятном и чужом.

(«Париж»)

А потом подлинная, ничем не прикрытая тоска:

Как я грущу по русским зимам,
Каким навек недостижимым
Мне кажется и первый снег,
И санок окрыленный бег,
И над уснувшими домами
Чуть видный голубой дымок,
И в окнах робкий огонек,

Зажженный милыми руками,
Калитки скрип, собачий лай
И у огня горячий чай.

(«Когда в Париже осень злая...»)

Если на время отрешиться от всех литературоведческих концепций и построений, мы увидим заброшенного мальчишку, в чужом городе неутешно тоскующего по московским улицам. Чего он только на себя не напускает, чтобы скрыть свое неприятное одиночество, показать себя в сотни раз опытнее, скепичнее, искушеннее, чем на самом деле!.. А со всем этим комок в горле:

И столько близкого и милого
В словах: Арбат, Дорогомилово...

(«О Москве»)

И вот в Латинском квартале он вспоминает о Плющихе, на Елисейских полях — о Девичьем поле. Мальчик!.. Несмотря на все свои выверты — просто мальчик. Но в чужеземной далеке вынужденная самостоятельность постепенно формирует в нем взрослые качества. Начинаются они с серьезных раздумий. Вдруг его обжигает мысль, что он «слишком рано отнят» от России и может потерять с ней кровную связь. Но при этом все же с ним остается надежда, что когда-нибудь, лишь увидит он пограничную станцию, тут же:

Я пойму, как пред тобой я нищ и мал,
Как я много в эти годы растерял,
И тогда, быть может, соберу я снова
Все, что сохранилось детского, родного,
И отдам тебе остатки прежних сил,
Что случайно я сберег и утаил.

(«России»)

В результате, конечно, окажется, что «в эти годы» он не только «много растерял», но и многое приобрел. И то «детское, родное», что заложено было в него с

самого начала — любовь к России,— вызовет в нем неостановимое стремление отдать ей все свои силы. Но до этого еще пройдут годы.

В ощущении гибели старой Европы, сжигающей себя в огне войны, в предчувствии и ожидании непонятной, но очевидной новизны, встающей с полей России, Илья Эренбург встречает весть о падении самодержавия. В июле 1917 года с группой эмигрантов он после долгого перерыва вступает на русскую землю. Начинается новый этап его жизни и поэзии.

Как горько пророчествовал Илья Эренбург в стихах 1913 года, он действительно был «слишком рано отнят от груди» России и не сразу понял исторические перемены, происшедшие с ней в его отсутствие. Во многом ему приходилось начинать с азов. Октябрьскую революцию он вначале воспринял как модификацию мужичьего бунта, росплекс «Пугачьей крови».

Гражданская война завершается полной победой Советской власти, и Эренбург сперва в Москве, а потом за рубежом пишет стихи уже по следам отхлынувших событий. Он говорит о золотом веке будущего, когда разыщут его стихи и в них увидят

...человека, умирающего на пороге,
С лицом, повернутым к нему.

(«Кому предам прозренья этой книги?..»)

Трагичность этих строк — в непонимании поэтом того, что порог уже перейден. Перейден революционным народом, шагнувшим в новую эпоху.

Зарубежные стихи начала 20-х годов полны презрения к обьевшей буржуазной Европе и горестного восхищения далекой голодной Россией, прорвавшей завесу будущего. В послеверсальской сытой Франции ему, по древнему реченью, «гульба, прохлада на ум нейдут», и Россия с ее бедами, болями, голодом, но зато и высокой миссией остается для него духовным образцом.

Один из последних поэтических сборников Эренбурга, изданный накануне долгого перерыва, назван им «Опустошающая любовь». Это точное наименование для стихов, в которых смешиваются пламя истинной страсти и холод разъедающего скепсиса, пафос восторженной любви и отчаянье непонимания. Отныне Эренбурга сопровождает чувство такой привязанности к эпохе, что сам себе он кажется то трубой, в которую дует всевластное время, то глиной в «руках горшечника».

Оставим же молодого поэта над грудой написанных неразборчивым почерком стихов. В них много путаницы, сбивчивости, непонимания событий, но никто не отнимет у этих строк покоряющей искренности, с которой автор признается в любви к России, людям, человечеству. Он верит в новые пути своей Родины, хотя еще не может различить, куда они ведут. Участь Эренбурга — это участь значительной части русской интеллигенции, не сразу разобравшейся в путях революции.

Оставим поэта на пятнадцать лет, чтобы опять встретить его с той же недодымившей трубкой, но уже не в парижском, а в мадридском кафе 1938 года, склонившегося над походным блокнотом.

3

Перед нами тот же и не тот же Эренбург. От поэта начала 20-х годов осталась печальная озабоченность человеческими судьбами, стремление в малом увидеть большое, графичность поэтического почерка. Исчезли экзальтированность, субъективные решения политических вопросов, непрерывная смена модернистских увлечений и влияний. Пришли подлинная интернациональность, точная политическая ориентация, широта мышления, строгость пера. И — главное для поэта — появились превосходные стихи, без которых становится невыносимой любая антология советской поэзии:

И сердце зрелое — тот мир просторный,
Где звезды падают и всходят зерна.

(«Нет, не зеницу ока и не камень...»)

Зрелое сердце диктовало новые стихи, которые стал писать Эренбург после пятнадцатилетнего перерыва. Карандаш его теперь, когда он рисует «свирепость, солнце и величье Сухого каменного дня» гражданской войны в Испании, как правило, точен и четок. Впервые здесь с оружием в руках столкнулись фашизм и революция.

Эренбург послан сюда корреспондентом «Известий». Московские читатели, каждый день разворачивая газету, искали информации и статьи Эренбурга, посланные с переднего края событий. Но для полного мысленного и чувствопроявления писателю недостаточно корреспонденций, утолить духовную жажду могут только стихи. Если расширительно истолковать строку «Где звезды падают и всходят зерна», то можно сказать, что Эренбургу еще предстоит увидеть упавшую за исторический горизонт трагическую звезду республиканской Испании и взрастить в своих стихах яростные всходы неугасимой ненависти к фашизму.

Одно из лучших стихотворений поэта тех лет называется «Разведка боем». Его следует процитировать с первой до последней строки:

«Разведка боем» — два коротких слова.
Роптали орудийные басы,
И командир поглядывал сурово
На крохотные дамские часы.
Сквозь заградительный огонь прорвались,
Кричали и кололи на лету.
А в полдень подчеркнул штабного палец
Захваченную утром высоту.
Штыком вскрывали пресные консервы.
Убитых хоронили, как во сне.
Молчали.

Командир очнулся первый:

В холодной предрассветной тишине,
Когда дышали мертвые покоем,
Очистить высоту пришел приказ.
И, повторив слова: «Разведка боем»,
Угрюмый командир не поднял глаз.
А час спустя заря позолотила
Чужой горы чернильные края.
Дай оглянуться — там мои могилы,
Разведка боем, молодость моя!

Илья Эренбург живо и остро ощущал братскую связь двух героических народов. В сражающемся Мадриде он слышит:

...вдруг доносится, как смутный гул прибоя,
Дыхание далекой и живой Москвы.

(«Говорит Москва»)

Особенно ощутима эта связь в стихотворении «В кастильском нищенском селенье...». Здесь в церкви показывают кино:

И, памятью меня измаяв,
Расталкивая всех святых,
На стенке бушевал Чапаев,
Сзывал живых и неживых.
Как много силы у потери!
Как в годы переходит день!
И мечется по рыжей сьерре
Чапаева большая тень.
Земля моя, земли ты шире,
Страна, ты вышла из страны,
Ты стала воздухом, и в мире
Им дышат мужества сыны.

Возможны ли были такие стихи у Эренбурга пятнадцать лет назад? Конечно, нет. А сейчас они для него органичны. И — отметим для себя афористическую четкость прекрасных строк: «Земля моя, земли ты шире, Страна, ты вышла из страны». Здесь широта мышления,

интернационалистичность, патриотизм соединены в крепко спаянной цельности.

Наступает последний акт трагедии. Республиканские войска отступают через северную границу во Францию. Траурной музыкой реквиема звучат стихи Эренбурга:

В сырую ночь ветра точили скалы.
Испания, доспехи волоча,
На север шла. И до утра кричала
Труба помешанного трубача.
...Что может быть печальней и чудесней —
Рука еще сжимала горсть земли.
В ту ночь от слов освобождались песни
И шли деревни, будто корабли.

(«В январе 1939»)

На долгие десятилетия опускается над Испанией черный франкистский занавес. Эренбург оказывается во Франции. Здесь его настигает вторая мировая война.

Эренбург остро переживает наступление гитлеровских войск, военный разгром Франции. С этой страной у него связано полжизни. В его теперешних стихах о ней один почерк, одна мысль, одно чувство. Это лирический дневник, где смена душевных движений так же естественна, как в исповеди. После взятия Парижа немцами он пишет:

Не для того писал Бальзак.
Чужих солдат чугунный шаг.
...Не для того — камням молюсь —
Упал на камни Делеклюз.
Не для того тот город рос,
Не для того те годы гроз...

...Глаза закрой и промолчи,—
Идут чужие трубачи,
Чужая медь, чужая спесь.
Не для того я вырос здесь!

(«Не для того писал Бальзак...»)

Новое злодеяние на счету фашизма.

В эти скорбные дни «бедная больная сумасбродка, хлопотунья вечная душа» не только вбирает в себя несчастья прекрасного народа. Эренбург обращается к давней проблеме войны и искусства:

Я перечитывал стихи Ронсара,
И волшебство полуденного дара,
Игра любви, печали легкой тайна,
Слова, рожденные как бы случайно,
Законы строгие спокойной речи
Пугали мир ущерб и увечий.
Как это просто все! Как недоступно!
Любимая, дышать и то преступно...

(«Не раз в те грозные, больные годы...»)

По-прежнему всем душевным строем поэт повернут в сторону далекой и близкой Москвы.

Но вдруг, как моря склянки, для мира и для нас
Кремлевские куранты вызванивают час,—

пишет он в стихотворении «У приемника», созданном в Париже 1940 года.

В июне 1941 года гитлеровские войска без предупреждения напали на Советскую страну. Перо Эренбурга с первых дней Великой Отечественной войны было отдано сражающемуся народу. Стихи его говорили о том же, о чем гремела его проза и публицистика, но на своем поэтическом языке. Советская поэзия тех лет удивляет многообразием талантов, но строки Эренбурга не затерялись среди многих. В стихотворении «1941» четко обозначена вся яростная суть этого страшного года. Вся земля поднялась на врага:

Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горюцвет,
Дерево и то стреляло вслед,
Ночью партизанили кусты
И взлетали, как щепы, мосты,

Шли с погоста деды и отцы,
Пули подавали мертвецы,
И, косматые, как облака,
Врукопашную пошли века.

Здесь рукой Эренбурга водит истинная поэзия. Дальше, в поддержку этих мощных образов, приходят жизненные реалии тех дней:

Затвердело сердце у земли,
А солдаты шли, и шли, и шли,
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада,
Шел Смоленщины дремучий бор,
Шел глухой, зазубренный топор,
Шли пустые, тусклые поля,
Шла большая русская земля.

Собственно говоря, это стихотворение — ключ ко всей военной лирике Эренбурга. В нем начало всех ее основных мотивов: ненависть к фашизму, скорбь об утратах и потерях, призыв к яростной борьбе за освобождение родной земли от захватчиков. Далеко еще до победы, но взгляд поэта все время видит ее отблеск в каждом выстреле советского солдата, в каждой орудиной вспышке.

Тяжки первые месяцы войны, полные горечи отступлений и поражений. Враг захватывает наши деревни и города. Фашисты взяли Киев, родину поэта.

«Киев, Киев! — повторяли провода.—
Вызывает горе, говорит беда».

Не одна горечь, но и твердая надежда живет в груди поэта:

«Киев, Киев!» — надрывались журавли.
И на запад эшелоны молча шли.
И от лютой человеческой тоски
Задыхались крепкие сибиряки...

(«Привели и застрелили у Днепра...»)

Ненависть к врагу находит выход не только во множестве публицистических статей, опубликованных Эренбургом в газетах того времени. Боль, скорбь, ненависть народная концентрируются в его стихотворениях 1941—1942 годов:

За сжатый рот твоей жены,
За то, что годы сожжены,
За то, что нет ни сна, ни стен,
За плач детей, за крик сирен,
За то, что даже образа
Свои проплакали глаза...

(«Убей!»)

Но кроме ненависти в душе живут и другие чувства:

Нет, ненависть не слепота —
Мы видим мир, и сердцу внове
Земли родимой красота
Средь горя, мусора и крови.

(«Знакомые дома не те...»)

Эренбурга не оставляют раздумья о сопротивляющейся фашизму подневольной Европе. Стихи его вместе со статьями и фельетонами выполняли общее высокое назначение. Ненависть к фашизму у солдат была естественна и неостановима, но эренбурговские строки обостряли, нацеливали ее и давали ей, вместе со всероссийским и всесоветским, всечеловеческое обоснование. Солдат, читая Эренбурга, ощущал себя прежде всего защитником родной земли, но наряду с этим — соратником французских маки, югославских партизан, всех антифашистов мира. Творчество Эренбурга в годы войны помогало советским людям ощутить свое первенствующее место во всемирной борьбе с фашизмом. Это равно относится к его прозе, публицистике, поэзии.

Советский народ возглавил народы Европы, яростно боровшиеся с гитлеровскими захватчиками. Многие стихи

поэта посвящены героизму наших воинов. Одно из них заканчивается строками:

Врага он встретит у обочины.
А вдруг откажет пулемет,
Он скажет: «Жить кому не хочется» —
И сам с гранатой поползет.

(«Он пригорюнится, притулится...»)

Строки такого рода часты во фронтовой лирике поэта.

Мир, кажущийся таким далеким в разгаре войны, рисуется днем безбрежного покоя — это всегдашняя неосуществимая мечта Эренбурга:

Было в жизни мало резеды,
Много крови, пепла и беды.
Я не жалеюсь на свой удел,
Я бы только увидеть хотел
День один, обыкновенный день,
Чтобы дерева густая тень
Ничего не значила, темна,
Кроме лета, тишины и сна.

(«Было в жизни мало резеды...»)

Он размышляет о месте поэта в череде событий:

Ракеты салютов. Чем небо черней,
Тем больше в них страсти растерзанных дней.
Летят и сгорают. А небо черно.
И если себя пережить не дано,
То ты на минуту чужие пути,
Как эта ракета, собой освети.

(«Ракеты салютов. Чем небо черней...»)

Не минуто, а долгие военные годы освещало творчество Эренбурга сперва пути отступлений, а потом дороги побед.

Пришла долгожданная победа. Бесспорная и окончательная. «Я ждал ее, как можно ждать любя, Я знал

ее, как можно знать себя». Но на лице ее поэт увидел трагические черты невозвратимых утрат.

Она была в линиялой гимнастерке,
И ноги были до крови натерты.
Она пришла и постучалась в дом.
Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.
«Твой сын служил со мной в полку одном,
И я пришла. Меня зовут Победа».
Был черный хлеб белее белых дней,
И слезы были соли солоней.
Все сто столиц кричали вдалеке,
В ладоши хлопали и танцевали.
И только в тихом русском городке
Две женщины, как мертвые, молчали.

(«Она была в линиялой гимнастерке...»)

В эти первые послевоенные дни, месяцы, годы поэт остро переживает противоречивость жизни, с трудом входящей в мирную колею. Задумывается он и над своей жизненной линией. В одном из стихотворений он уподобляет себя большому дереву, в дни «кроткой росы» и «ласковых небес» оставшемуся на своем посту, как «солдат, которому доверили Прикрыть собою высоту». Дерево умирает. «Дерево» — таково название нового сборника Ильи Эренбурга. В нем встречаются стихи пронзительного лирического звучания, говорящие о жизни и смерти, бессмертии и вечности:

Умру — вы вспомните газеты шорох,
Ужасный год, который всем нам дорог.
А я хочу, чтоб голос мой замолкший
Напомнил вам не только гром у Волги,
Но и деревьев елe слышный шелест,
Зеленую таинственную прелесть.
...Уйду — они останутся на страже,
Я начал говорить — они доскажут.

(«Умру — вы вспомните газеты шорох...»)

В 50-х годах Илья Эренбург становится одним из видных борцов за мир, и поэзия встает с ним плечом к плечу в этой благородной деятельности.

Муза Эренбурга откликается на события века, и каждый раз по-своему и неповторимо. Множество стихов было написано о первом спутнике Земли, запущенном нами в 1957 году. Но лишь у Эренбурга он ассоциировался с сорокалетием советского строя и превратился в неожиданный и впечатляющий образ:

В глухую осень из российской пуши,
Средь холода и грусти волостей,
Он был в пустые небеса запущен
Надеждой исстрадавшихся людей.
Ему орбиты были незнакомы,
Он оживал в часы глухой тоски,
О нем не говорили астрономы,
За ним следили только бедняки.
...Но в смертный час над потрясенной Волгой
Он будущее мира отстоял.
Его не признавали: «Это — опыт»,
В сердцах твердили: «Это — русских дурь»,
Пока не увидали в телескопы
Его кружение среди звездных бурь.
Не знаю, догадаются, поймут ли...
Он сорок лет бушует надо мной,
Моих надежд, моей тревоги спутник,
Немыслимый, далекий и родной.

(«Спутник»)

Этими сильными стихами, глубоко раскрывающими духовную сущность Ильи Эренбурга — поэта и человека, можно было бы закончить наш очерк. Но ими не заканчивается путь поэта. Еще десять лет после создания этих строк он отдавал себя творчеству, общественной деятельности. В стихах последнего десятилетия его жизни звучат те же ноты, что определяли его поэзию прошлых лет.

Часто возвращается он к стихам наступательного мира — так можно назвать эту тему в творчестве Эренбурга. Это не лозунговая поэзия, перо поэта бывает очень тонким. В одном из стихотворений он пишет о девушке, читающей любовную записку на заснеженной улице. И когда поэт слышит «на громких сборищах Про ненависть, про бомбы и про стронций», он вспоминает

...улицу морозную
И облако у каменного зданья,
Огромный мир с бесчисленными звездами
И крохотное, слабое дыханье.

(«Был пятый час среди январских сумерек...»)

Снова и снова задумывается он о назначении и путях искусства, о своем месте в жизни:

Но ты ответишь перед всеми
Не только за себя — за Время.

(«Мы говорим, когда нам плохо...»)

А искусству он отдает самые лучшие слова:

Искусство тем и живо на века —
Одно пятно, стихов одна строка
Меняют жизнь, настраивают душу.
Они ничтожны — в этот век ракет —
И непреложны — ими светел свет.
Все нарушал, искусства не нарушу.

(«Сонет»)

Десять стихотворений объединяются заглавием «Старость». Стихи мудрости и прозорливости. В них вновь и вновь раскрывается мятущаяся, беспокойная, страстная натура Эренбурга. «Молодому кажется, что к старости Расступаются густые заросли, Все измерено, давно погашено...»

Все не так. В моем проклятом возрасте
Карты розданы, но нет уж козыря,
Страсть грызет и требует по-прежнему,

Подгоняет сердце, будто не жил я,
И хотя уже готовы вынести,
Хватит на двоих непримиримости...

(«Молодому кажется, что к старости...»)

Но не одна непримиримость удерживает поэта на земле. В сердце у него еще много любви и доброты:

Если держит еще — не надежда,
А густая и цепкая нежность,
Что из сердца не уберется,
Если сердце все еще бьется.

(«Позабыть на одну минуту...»)

Приходит извечное человеческое ощущение: «Я сколько жил, а все не дожил, Не доглядел, не долюбил». Но дверь уже закрывается, и ее не удержать ослабевшими руками. И перед захлопнутой дверью остается повторить слова поэта: «Умрет садовник, что сажает семя, И не увидит первого плода...»,

Но нежная звезда давно погасла,
И виден мне ее горячий свет.

(«Умрет садовник, что сажает семя...»)

Этим строкам поэт не придавал значения самоэпитативии, но мы их адресуем непосредственно Эренбургу. Лишь один эпитет хотелось бы изменить: не «нежная», а колючая звезда вела поэта по градам и весям сущего мира.

Сергей Наровчатов

1911-
1923 гг.

ПАРИЖ

Тяжелый сумрак дрогнул и, растаяв,
Чуть оголил фигуры труб и крыш.
Под четкий стук разбуженных трамваев
Встречает утро заспанный Париж.
И утомленных подымает властно
Грядущий день, всесилен и несyt.
Какой-то свет тупой и безучастный
Над пробужденным городом разлит.
И в этом полусвете-полумраке
Кидает день свой неизменный зов.
Как странно всем, что пьяные гуляки
Еще бредут из сонных кабаков.
Под крик гудков бессмысленно и глухо
Проходит новый день — еще один!
И завтра будет нищая старуха
Его искать средь мусорных корзин.

А днем в Париже знойно иль туманно,
Фабричный дым, торговок голоса,—
Когда глядишь, то далеко и странно,
Что где-то солнце есть и небеса.
В садах, толкаясь в отупевшей груди,
Кричат младенцы сотней голосов,
И женщины высовывают груди,
Отвисшие от боли и родов.
Стучат машины в такт неторопливо,
В конторах пишут тысячи людей,

**И час за часом вяло и лениво
Показывают башни площадей.**

**По вечерам, собираясь в рестораны,
Мужчины ждут, чтоб опустилась тьма,
И при луне, насыщены и пьяны,
Идут толпой в публичные дома.
А в маленьких кафе и на собраниях
Рабочие бунтуют и поют,
Чтоб завтра утром в ненавистных зданьях
Найти тяжелый и позорный труд.**

**Блуждает ночь по улицам тоскливым,
Я с ней иду, измученный, туда,
Где траурно-янтарным переливом
К себе зовет пустынная вода.
И до утра над Сеною недужной
Я думаю о счастье и о том,
Как жизнь прошла бесследно и ненужно
В Париже непонятном и чужом.**

Апрель или май 1911

ВОЗВРАТ

**Будут времена, когда, мертвы и слепы,
Люди позабудут солнце и леса
И до небосвода вырастут их склепы,
Едким дымом покрывая небеса.
Будут времена: не ведая желаний
И включивши страсть в обычные дела,
Люди станут прятать в траурные ткани
Руки и лицо, как некогда тела.**

**Но тогда, я знаю, совершится чудо,
Люди обесселят в душных городах.**

**Овладеет ими новая причуда —
Жить, как прадеды, в болотах и в лесах.
Увлекут их травы, листья и деревья,
Нивы, пастбища, покрытые травой.
Побредут они на древние кочевья,
Стариков и женщин увлекут с собой.
Перейдя границы города — заставы,
Издали завидев первые поля,
Люди будут с криком припадать на травы,
Плакать в иступленье и кричать: «Земля!»**

**В парах падая на травяное ложе,
Люди испугают дремлющих зверей.
Женщины впервые без стыдливой дрожи
Станут прижимать ликующих мужей.
Задыхаясь от нахлынувшего смеха,
Каждый будет весел, иступлен и наг.
И ответит на людские крики эхо
Быстро одичавших кошек и собак.**

**Далеко, почти сливаясь с небосводом,
На поля бросая мутно-желтый свет,
Будет еле виден по тяжелым сводам
Города истлевший и сухой скелет.**

Апрель или май 1911

* * *

**Когда встают туманы злые
И ветер гасит мой камин,
В бреду мне чудится, Россия,
Безлюдие твоих равнин.
В моей мансарде полутемной,
Под шум парижской мостовой,
Ты кажешься мне столь огромной,**

**Столь беспримерно неживой,
Таишь такое безразличье,
Такое нехотенье жить,
Что я страшусь твое величье
Своею жалобой смутить.**

Март или апрель 1912

* * *

**Когда в Париже осень злая
Меня по улицам несет
И злобный дождь, не умолкая,
Лицо ослепшее сечет,—
Как я грущу по русским зимам,
Каким навек недостижимым
Мне кажется и первый снег,
И санок окрыленный бег,
И над уснувшими домами
Чуть видный голубой дымок,
И в окнах робкий огонек,
Зажоженный милыми руками,
Калитки скрип, собачий лай
И у огня горячий чай.**

Март или апрель 1912

РОССИИ

**Ты прости меня, Россия, на чужбине
Больше я не в силах жить твоей святыней.
Слишком рано отнят от твоей груди,
Я не помню, что осталось позади.
Если я когда-нибудь увижу снова
И носильщиков, и надпись «Вержболово»,**

Мутный, ласковый весенний день,
Талый снег и горечь деревень,
На дворе церковном бурные дорожки
И березки хилой тонкие сережки,—
Я пойму, как пред тобой я нищ и мал,
Как я много в эти годы растерял.
И тогда, быть может, соберу я снова
Все, что сохранилось детского, родного,
И отдам тебе остатки прежних сил,
Что случайно я сберег и утаил.

Февраль или март 1913

* * *

.
Я бы мог прожить совсем иначе,
И душа когда-то создана была
Для какой-нибудь московской дачи,
Где со стенок капает смола,
Где идешь, зарею пробужденный,
К берегу отлогому реки,
Чтоб увидеть, как по влаге сонной
Бегают смешные паучки.
Милая, далекая, поведай,
Отчего ты стала мне чужда,
Отчего к тебе я не приеду,
Не смогу приехать никогда!..

Февраль или март 1913

О МОСКВЕ

Есть город с пыльными заставами,
С большими золотыми главами,
С особняками деревянными,

**С мастеровыми вечно пьяными,
И столько близкого и милого
В словах: Арбат, Дорогомилово...**

Февраль или март 1913

ВЗДОХИ ИЗ ЧУЖБИНЫ

1

плющиха

**Значит, снова мечты о России —
Лишь напрасно приснившийся сон;
Значит, снова дороги чужие,
И по ним я идти обречен!
И бродить у Вандомской колонны
Или в плоских садах Тюльери,
Где над лужами вечер влюбленный
Рассыпает, дрожа, фонари,
Где, как будто веселые птицы,
Выбегают в двенадцать часов
Из раскрытых домов мастерицы,
И у каждой букетик цветов.
О, бродить и вздыхать о Плющихе,
Где, разбуженный лаем собак,
Одинокий, печальный и тихий
Из сирени глядит особняк,
Где, кочуя по хилым березкам,
Воробьи затевают балы
И где пахнут натертые воском
И нагретые солнцем полы...**

2

девичье поле

**Уж слеза за слезою
Пробирается с крыш,**

**И неловкой ногою
По дорожке скользишь.
И милей и коварней
Пооттаявший лед,
И фабричные парни
Задевают народ.
И пойдешь от гуляний —
Вдалеке монастырь,
И извощичьи сани
Улетают в пустырь.
Скоро снег этот слабый
И отсюда уйдет
И веселые бабы
Налетят в огород.
И от бабьего гама,
И от крика грачей,
И от греющих прямо
Подобревших лучей
Станет нежно-зеленым
Этот снежный пустырь,
И откликнется звоном,
Загудит монастырь.**

Март 1913

КАНУН

**На площади пел горбун,
Уходили, дивились прохожие:
«Тебе поклоняюсь, буйный канун
Черного года!
Монахи раскрывали горящие рясы,
Казали волосатую грудь.
Но земля изнывала от засухи,
И тупился серебряный плуг.
Речи говорили они дерзкие,**

Поминали Его имена.
Лежит и стонет, рот отверст,
Суха, темна.
Приблизился вечер.
Кличет сын.
Ее вы хотели кровью человеческой
Напоить!
Тяжелы виноградные гроздья,
Собран хлеб.
Мальчик слепого за руку водит.
Все города обошли.
От горсти земли он ослеп.
Посыпал ее на горячие очи,
Затмились они.
Видите — стали белыми ночи
И чернью покрылись дни.
Раздайте вашу великую веру,
Чтоб пусто стало в сердцах!
И, темной ночи отверстые,
Целуйте следы слепца.
Ничего не таите — ибо время
Причаститься иной благодати!»
И пел горбунок о наставшем успении
Его преподобной матери.

Февраль 1915

В ВАГОНЕ

В купе господин качался, дремал, качаясь
Направо, налево, еще немножко.
Качался один, неприкаянный,
От жизни качался от прожитой.
Милый, и ты в пути,
Куда же нам завтра идти?
Но верю: ватные лица,

Темнота, чемоданы, тюки,
И рассвет, что тихо дымится
Среди обгорелых изб,
Под белым небом, в бесцельном беге,
Отряхая и снова вбирая
Сон, полусон,—
Все томится, никнет и бредит
Одним концом.

Апрель 1915

ПУГАЧЬЯ КРОВЬ

На Болоте стоит Москва, терпит:
Приобщиться хочет лютой смерти.
Надо, как в чистый четверг, выстоять.
Уж кричат петухи голосистые.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.
От церкви идет темный гуд.
Бабы все ждут и ждут.
Крестился палач, пил водку,
Управился, кончил работу,
Да за волосы как схватит Пугача.
Но Пугачья кровь горяча.
Задымился снег под тяжелой кровью,
Начал парень чихать, сквернословить:
«Уж пойдем, пойдем, твою мать!..
По Пугачьей крови плясать!»
Посадили голову на кол высокий,
Тело раскидали, и лежит на Болоте,
И стоит, стоит Москва.
Над Москвой Пугачья голова.
Разделась баба, кинулась голая
Через площадь к высокому колу:
«Ты, Пугач, на колу не плачь!

Хочешь, так побалуйся со мной, Пугач!
...Прорастут, прорастут твои рваные рученьки,
И покроется земля злаками горючими,
И начнет народ трясти и слабить,
И потонут детушки в темной хляби,
И пойдут парни семечки грызть, тешиться,
И станет тесно, как в лесу, от повешенных,
И кого за шею, а кого за ноги,
И разверзнется Москва смрадными ямами,
И начнут лечить народ скверной мазью,
И будут бабушки на колокольни лазить,
И мужья пойдут в церковь брюхатые
И родят, и помрут от пакости,
И от мира божьего останется икра рачья
Да на высоком колу голова Пугачья!»
И стоит, и стоит Москва.
Над Москвой Пугачья голова.
Желтый снег от мочи лошадиной.
Вкруг костров тяжело и дымно.

1916

* * *

Наши внуки будут удивляться,
Перелистывая страницы учебника:
«Четырнадцатый... семнадцатый... девятнадцатый...
Как они жили!.. Бедные!.. Бедные!..»
Дети нового века прочтут про битвы,
Заучат имена вождей и ораторов,
Цифры убитых
И даты.
Они не узнают, как сладко пахли на поле брани розы,
Как меж голосами пушек стрекотали звонко стрижи,
Как была прекрасна в те годы
Жизнь

Никогда, никогда солнце так ярко не смеялось,
Как над городом разгромленным,
Когда люди, выползая из подвалов,
Дивились: есть еще солнце!..
Гремели речи мятежные,
Умирали ярые рати,
Но солдаты узнали, как могут пахнуть подснежники
За час до атаки.

Вели поутру, расстреливали,
Но только они узнали, что значит апрельское утро.
В косых лучах купола горели,
А ветер молил: обожди! минуту! еще минуту!
Целуя, не могли оторваться от грустных губ,
Не разжимали крепко сцепленных рук,
Любили — умру! умру!
Любили — гори, огонек, на ветру!
Любили — о, где же ты! где!
Любили — как могут любить только здесь, на мятежной
и нежной звезде.

В те годы не было садов с золотыми плодами,
Но только мгновенный цвет, один обреченный май!
В те годы не было «до свиданья»,
Но только звонкое, короткое «прощай».
Читайте о нас — дивитесь!
Вы не жили с нами — грустите!
Гости земли, мы пришли на один только вечер.
Мы любили, крушили, мы жили в наш смертный час,
Но над нами стояли звезды вечные,
И под ними зачали мы вас.
В ваших очах горит еще наша тоска.
В ваших речах звенят еще наши мятежи.
Мы далеко расплескали в ночь и в века, в века
Нашу угасшую жизнь.

Март 1919

* * *

Я не знаю грядущего мира,
На моих очах пелена.
Цветок, я на поле брани вырос,
Под железной стопой отзвенела моя весна.
Смерть земли! Или трудные роды!
Я летел, и горел, и сгорел.
Но я счастлив, что жил в эти годы,—
Какой высокий удел!
Другие слагали книги пророчеств,
Племена небес стерегли.
Мы же горим, затопив полярные ночи
Костром невозможной любви.

Небожители! Духи! Святые!
Вот я, слепой человек,
На полях мятежной России
Прославляю восставший век!
Мы ничего не создали,
Захлебнулись в тоске, растворились в любви,
Но звездное небо нами разодрано,
Зори в нашей крови.
Гнев и смерть в наших сердцах,
На лицах отсвет кровавый —
Это мы из груди окаменевшего творца
Мечом высекали новую правду.

Март 1919

* * *

Ветер летит и стонет.
Только ветер. Слышишь — пора.
Отрекаюсь, трижды отрекаюсь
От всего, чем я жил вчера.

От того, кто мнился в земной пустыне,
В легких сквозил облаках,
От того, чье одно только имя
Врачевало сны и века.
Это не трепет воскрылий архангела,
Не господь Саваоф гремит —
Это плачет земля многопамятная
Над своими лихими детьми.
Сон отснился. Взыграло жестокое утро,
Души пустыри оголя.
О, как небо чуждо и пусто,
Как черна родная земля!
Вот мы сами паства и пастырь,
Только земля нам осталась —
На ней ведь любить, рожать, умирать.
Трудным плугом, а после могильным заступом
Ее черную грудь взрезать.
Золотые взломаны двери,
С тайны снята печать,
Принимаю твой крест, безверье,
Чтобы снова и снова алкать.
Припадаю, лобзаю черную землю.
О, как кратки часы бытия!
Мать моя, светлая, брменная!
Ты моя, ты моя, ты моя!

Январь 1920

* * *

Кому предам прозренья этой книги!
Мой век среди растущих вод
Земли уж близкой не увидит,
Масличной ветви не поймет.
Ревнивое встает над миром утро.
И эти годы не разноязычий сечь,

Но только труд кровавой повитухи,
Пришедшей, чтоб дитя от матери отсечь.
Да будет так! От этих дней безлюбых
Кидаю я в века певучий мост.
Концом другим он обопрется о винты и кубы
Очеловеченных машин и звезд.
Как полдень золотого века будет светел!
Как небо воссинеет после злой грозы!
И претворятся соки варварской лозы
В прозрачное вино тысячелетий.
И некий человек в тени книгохранилищ
Прочтет мои стихи, как их читали встарь,
Услышит едкий запах седины и пыли,
Заглянет, может быть, в словарь.
Средь мишуры былой и слов убогих,
Средь летописи давних смут
Увидит человека, умирающего на пороге,
С лицом, повернутым к нему.

Январь или февраль 1921

Москва

* * *

Я не трубач — труба. Дуй, Время!
Дано им верить, мне звенеть.
Услышат все, но кто оценит,
Что плакать может даже медь!
Он в серый день припал и дунул,
И я безудержно завыл,
Простой закат назвал кануном
И скуку мукой подменил.
Старались все себя превысить —
О ком звенела медь! О чем!
Так припадали губы тысяч,
Но Время было трубачом.

Не я, рукой сухой и твердой
Перевернув тяжелый лист,
На смотр веков построил орды
Слепых тесальщиков земли.
Я не сказал, но лишь ответил,
Затем что он уста рассек,
Затем что я не властный ветер,
Но только бедный человек.
И кто поймет, что в сплаве медном
Трепещет вкрапленная плоть,
Что прославляю я победы
Меня сумевших побороть!

Июль 1921

* * *

Будет день — и станет наше горе
Датами на цоколе историй,
И в обжитом доме не припомнят
О рабах былой каменоломни.
Но останется от жизни давней
След нестертый на остывшем камне,
Незаглохшие без эха рифмы,
Незабытые чужие мифы,
Не скрижали дикого Синая —
Слабая рука, а в ней другая,
Чтобы знали дети легкой неги
О неупомянутой победе
Просто человеческого сердца
Не над человеком, но над смертью.
Так напрасно все ветра пытались
Разлучить хладеющие пальцы.
Быстрый выстрел или всхлипы двери,
Но в потере не было потери.
Мы детьми играли на могиле.

Умирая, мы еще любили.
Стала смерть задумчивой улыбкой
На лице блаженной Суламиты.

Август 1921

* * *

Тяжелы несжатые поля,
Золотого века полнокровье.
Чем бы стала ты, моя земля,
Без опустошающей любви!

Да, любовь, и до такой тоски,
Что в зените леденеет сердце,
Вместо глаз кровавые белки
Смотрят в хаотические сферы.

Закипает глухо желчь земли,
Веси заливают бунта лава,
И горит Нерукотворный Лик,
Падает порфировая слава.

О, я тоже пил твоё вино!
Ты глаза потупила, весталка,
Проливая в каменную ночь
Первые разрозненные залпы.

Январь 1922

* * *

Что седина! Я знаю полдень смерти —
Звонарь блаженный звоном изойдет,
Не раскачнув земли глухого сердца,
И виночерпий чаши не дольет.

**Молю,— о ненависть, пребудь на страже!
Среди камней и рубенсовских тел
Пошли и мне неслыханную тяжесть,
Чтоб я второй земли не захотел.**

Январь 1922

* * *

**Так умирать, чтоб бил озноб огни,
Чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский:
«Ну, ты, угомонись, уймись, нишкни»,—
Прошамкал мамкой ветровому сердцу,
Чтоб — без тебя, чтоб вместо рук сжимать
Ремень окна, чтоб не было «останься»,
Чтоб, умирая, о тебе гадать
По сыпи звезд, по лихорадке станций,—
Так умирать, понять, что гам и чай,
Буфетчик, вечный розан на котлете,
Что это — смерть, что на твое «прощай!»
Уж мне никак не суждено ответить.**

1923

1938-
1967 гг.

* * *

Нет, не забыть тебя, Мадрид,
Твоей крови, твоих обид.
Холодный ветер кружит пыль.
Зачем у девочки костыль!
Зачем на свете фонари!
И кто дотянет до зари!
Зачем живет Карабанчель!
Зачем пустая колыбель!
И сколько будет эта мать
Не понимать и обнимать!
Раскрыта прямо в небо дверь,
И, если хочешь, в небо верь,
А на земле клочок белья,
И кровью смочена земля.
И пушки говорят всю ночь,
Что не уйти и не помочь,
Что зря придумана заря,
Что не придут сюда моря,
Ни корабли, ни поезда,
Ни эта праздная звезда.

1938

«ГОВОРIT МОСКВА»

Трибун на цоколе безумца не напоит.
Не крикнут ласточки средь каменной листвы.
И вдруг доносится, как смутный гул прибоя,
Дыхание далекой и живой Москвы.
Всем пасынкам земли знаком и вчуже дорог
(Любуются на улиц легкие стежки) —
Он для меня был нежным детством, этот город,
Его Садовые и первые снежки.
Дома кочуют. Выйдешь утром, а Тверская
Свернула за угол. Мостов к прыжку разбег.
На реку корабли высокие спускают,
И, как покойника, сжигают ночью снег.
Иду по улицам, и прошлого не жалко,
Ни сверстников, ни площади не узнаю.
Вот только слушаю все ту же речь с развалкой
И улыбаюсь старожилу-воробью.
Сердце кипенье: город взрезан, взорван, вскопан,
А судьбы сыплются меж пальцев, как песок.
И, слыша этот шум, покорно ночь Европы
Из рук роняет шерсти золотой моток.

1938

* * *

Парча румяных жадных богородиц,
Эскуриала грузные гроба.
Века по каменной пустыне бродит
Суровая испанская судьба.
На голове кувшин. Не догадаться,
Как ноша тяжела. Не скажет цеп
О горе и о гордости батрацкой,
Дитя не всхлипнет, и не выдаст хлеб.
И если смерть теперь за облаками,

Безносая, она земле не вновь,
Она своя, и знает каждый камень
Осколки глины, человека кровь.
Ослы кричат. Поет труба пастушья.
В разгаре боя, в середине дня,
Вдруг смутная улыбка равнодушья,
Присущая оливам и камням.

1938

* * *

Сердце, это ли твой разгон!
Рыжий, выжженный Арагон.
Нет ни дерева, ни куста,
Только камень и духота.
Все отдать за один глоток!
Пуля — крохотный мотылек.
Надо выползти, добежать.
Как звала тебя в детстве мать?
Красный камень. Дым голубой.
Орудийный короткий бой.
Пулеметы. Потом тишина.
Здесь я встретил тебя, война.
Одурь полдня. Глубокий сон.
Край отчаянья, Арагон.

1938

* * *

Тогда восстала горная порода,
Камней нагроможденье и сердец,
Медь Рио-Тинто бредила свободой,
И смертью стал Линареса свинец.
Рычали горы, щерились долины,

Моря оскалили свои клыки,
Прогнали горлиц гневные маслины,
Седой листвой прикрыв броневики,
Кусались травы, ветер жег и резал,
На приступ шли лопаты и скирды,
Узнали губы девушек железо,
В колодцах мертвых не было воды,
И вся земля пошла на чужеземца:
Коренья, камни, статуи, пески,
Тянулись к танкам нежные младенцы,
С гранатами дружили старики,
Покрылся кровью булочника фартук,
Огонь пропал, и вскинулось огнем
Все, что зовут Испанией на картах,
Что мы стыдливо воздухом зовем.

1938

БОЙ БЫКОВ

Зевак восторженные крики
Встречали грузного быка.
В его глазах, больших и диких,
Была глубокая тоска.
Дрожали дротики обиды.
Он долго поджидал врага,
Бежал на яркие хламиды
И в пустоту вонзал рога.
Не понимал — кто окровавил
Пустынь горячие пески,
Не знал игры высоких правил
И для чего растут быки.
Но ни налево, ни направо,—
Его дорога коротка.
Зеваки повторяли «браво»
И ждали нового быка.

Я не забуду поступь бычью,
Бег напрямик томит меня,
Свирепость, солнце и величье
Сухого, каменного дня.

1938

* * *

Крепче железа и мудрости глубже
Зрелого сердца тяжелая дружба.
В море встречаясь и бури изведав,
Мачты заводят простые беседы.
Иволга с иволгой сходятся в небе,
Дивен и дик их загадочный щебет.
Медь не уйдет от дыханья горниста,
Мертвый, живых поведет он на приступ.
Не говори о тяжелой потере:
Если весло упирается в берег,
Лодка отчалит и, чуждая грусти,
Будет качаться, как люлька,— до устья.

1938

* * *

Нет, не зеницу ока и не камень,
Одно я берегу: простую память.
Так дерево — оно ветров упорней —
Пускает в ночь извилистые корни.
Пред чудом человеческой свободы
Ничтожны версты и минута — годы;
И сердце зрелое — тот мир просторный,
Где звезды падают и всходят зерна.

1938

Батарею скрывали оливы.
День был серый, ползли облака.
Мы глядели в окно на разрывы,
Говорили, что нет табака.
Говорили орудья сердито,
И про горе был этот рассказ.
В доме прыгали чашки и сита,
Штукатурка валилась на нас.
Что здесь делают шкаф и скамейка,
Эти кресла в чехлах и комод!
Даже клетка, а в ней канарейка,
И, проклятая, громко поет.
Не смолкают дурацкие трели,
Стоит пушкам притихнуть — поет.
Отряхнувшись, мы снова глядели:
Перелет, недолет, перелет.
Но не скрою — волнение пичуги
До меня на минуту дошло,
И тогда я припомнил в испуге
Бредовое мое ремесло:
Эта спазма, что схватит за горло,
Не отпустит она до утра,—
Сколько чувств dokonала, затерла
Слов и звуков пустая игра!
Канарейке ответила ругань,
Полорумный буфет завизжал,
Показался мне голосом друга
Батарей запальчивый залп.

1938 или 1939

**«Разведка боем» — два коротких слова.
Роптали орудийные басы,
И командир поглядывал сурово
На крохотные дамские часы.
Сквозь заградительный огонь прорвались,
Кричали и кололи на лету.
А в полдень подчеркнул штабного палец
Захваченную утром высоту.
Штыком вскрывали пресные консервы.
Убитых хоронили, как во сне.
Молчали.**

**Командир очнулся первый:
В холодной предрассветной тишине,
Когда дышали мертвые покоем,
Очистить высоту пришел приказ.
И, повторив слова: «Разведка боем»,
Угрюмый командир не поднял глаз.
А час спустя заря позолотила
Чужой горы чернильные края.
Дай оглянуться — там мои могилы,
Разведка боем, молодость моя!**

1938 или 1939

В БАРСЕЛОНЕ

**На Рамбле возле птичьих лавок
Глухой солдат — он ранен был —
С дроздов, малиновок и славок
Глаз восхищенных не сводил.
В ушах его навек засели
Ночные голоса гранат.
А птиц с ума сводили трели,
И был щеглу щегленок рад.**

Солдат, увидев в клюве звуки,
Припомнил звонкие поля,
Он протянул к пичуге руки,
Губами смутно шевеля.
Чем не торгуют на базаре!
Какой не мучают тоской!
Но вот, забыв о певчей твари,
Солдат в сердцах махнул рукой.
Не изменить своей отчизне,
Не вспомнить, как цветут цветы,
И не отдать за щебет жизни
Благословенной глухоты.

1938 или 1939

У БРУНЕТЕ

В полдень было — шли солдат ряды.
В ржавой фляжке ни глотка воды.
На припеке — а уйти нельзя,—
Обгорели мертвые друзья.
Я запомнил несколько примет:
У победы крыльев нет как нет,
У нее тяжелая ступня,
Пот и кровь от грубого ремня,
И она бредет, едва дыша,
У нее тяжелая душа,
Человека топчет, как хлеба,
У нее тяжелая судьба.
Но крылатой краше этот пот,
Чтоб под землю заползти, как крот,
Чтобы руки, чтобы ружья, чтобы тень
Наломать, как первую сирень,
Чтобы в яму, к черту, под откос,
Только б целовать ее взасос!

1938 или 1939

РУССКИЙ В АНДАЛУЗИИ

Гроб несли по розовому щебню,
И труба унылая трубила.
Выбегали на шоссе деревни,
Подымали грабли или вилы.
Музыкой встревоженные птицы,
Те свою высвистывали зорю.
А бойцы, не смея торопиться,
Задыхались от жары и горя.
Прикурить он больше не попросит,
Не вздохнет о той, что обманула.
Опускали голову колосья,
И на привязи кричали мулы.
А потом оливы задрожали,
Заступ землю жесткую ударил.
Имени погибшего не знали.
Говорили коротко «товарищ».
Под оливами могилу вырыв,
Положили на могиле камень.
На какой земле товарищ вырос!
Под какими плакал облаками!
И бойцы сутулились тоскливо,
Отвернувшись, сглатывали слезы.
Может быть, ему милей оливы
Простодушная печаль березы!
В темноте все листья пахнут летом,
Все могилы сиротливы ночью.
Что придумаешь просторней света,
Человеческой судьбы короче!

1938 или 1939

У ЭБРО

На ночь глядя выслали дозоры.
Горя повидали понтонеры.
До утра стучали пулеметы,
Над рекой сновали самолеты,
С гор, раздроблены, сползали глыбы,
Засыпали, проплывая, рыбы,
Умирая, подымались люди,
Не оставили они орудий,
И зенитки, заливаясь лаем,
Били по тому, что было раем.

Другом никогда не станет недруг,
Будь ты, ненависть, густой и щедрой,
Чтоб не дать врагам ни сна, ни хлеба,
Чтобы не было над ними неба,
Чтоб не ластились к ним дома звери,
Чтоб не знать, не говорить, не верить,
Чтобы мудрость нас не обманула,
Чтобы дулу отвечало дуло,
Чтоб прорваться с боем через реку
К утреннему, розовому веку.

1938 или 1939

* * *

Горят померанцы, и горы горят.
Под ярким закатом забытый солдат.
Раскрыты глаза, и глаза широки,
Садятся на эти глаза мотыльки.
Натертые ноги в горячей пыли,
Они еще помнят, куда они шли.
В кармане письмо — он его не послал.
Остались патроны, не все расстрелял.
Он в городе строил большие дома,

Один не достроил. Настала зима.
Кого он лелеял, кого он берег,
Когда петухи закричали не в срок,
Когда закричала ночная беда
И в темные горы ушли города!
Дымились оливы. Он шел под огонь.
Горела на солнце сухая ладонь.
На Сьерра-Морена горела гроза.
Победа ему застилала глаза.
Раскрыты глаза, и глаза широки,
Садятся на эти глаза мотыльки.

1938 или 1939

ГОНЧАР В ХАЭНЕ

Где люди ужинали — мусор, щебень,
Кастрюли, битое стекло, постель,
Горшок с сиренью, а высоко в небе
Качается пустая колыбель.
Железо, кирпичи, квадраты, диски,
Разрозненные, смутные куски.
Идешь — и под ногой кричат огрызки
Чужого счастья и чужой тоски.
Каким мы прежде обольщались вздором!
Что делала, что холила рука!
Так жизнь, ободранная живодером,
Вдвойне необычайна и дика.
Портрет семейный,— думали про сходство,
Загадывали, чем обить диван.
Всей оболочки грубое уродство
Навязчиво, как муха, как дурман.
А за углом уж суета дневная,
От мусора очищен тротуар.
И в глубине прохладного сарая
Над глиной трудится старик гончар.

**Я много жил, я ничего не понял
И в изумлении гляжу один,
Как, повинувась старческой ладони,
Из темноты рождается кувшин.**

1938 или 1939

* * *

**В кастильском нищенском селенье,
Где только камень и война,
Была та ночь до одуренья
Криклива и раскалена.
Артиллерийской подготовки
Гроза гремела вдалеке.
Глаза хватались за винтовки,
И пулемет стучал в виске.
А в церкви — экая морока! —
Показывали нам кино.
Среди святителей барокко
Дрожало яркое пятно.
Как камень, сумрачны и стойки,
Молчали смутные бойцы.
Вдруг я услышал: русской тройки
Звенели лихо бубенцы,
И, памятью меня измаяв,
Расталкивая всех святых,
На стенке бушевал Чапаев,
Сзывал живых и неживых.
Как много силы у потери!
Как в годы переходит день!
И мечется по рыжей сьерре
Чапаева большая тень.
Земля моя, земли ты шире,
Страна, ты вышла из страны,
Ты стала воздухом, и в мире
Им дышат мужества сыны.**

Как на заброшенной каменоломне
Проклятый полдень жаден и печален.
Страшнее смерти это равнодушие.
Умрет один — идут, назад не взглянут.
Их одиночество глушит и душит,
И каждый той же суетой обманут.
Быть может, ты, ожесточась, отчаясь,
Вдруг остановишься, чтоб осмотреться,
И на минуту ягода лесная
Тебя обрадует. Так встанет детство:
Обломки мира, облаков обрывки,
Кукушка с глупыми ее годами,
И мокрый мох, и земляники привкус,
Знакомый, но нечаянный, как память.

1938 или 1939

* * *

Как восковые, отеки камельи,
Расина декламируют дрозды.
А ночью невеселое веселье
И ядовитый изумруд звезды.
В туманной суете угрюмых улиц
Еще у стоек поят голытьбу,
А мудрые старухи уж разулись,
Чтоб легче спать в игрушечном гробу.
Вот рыболов с улыбкою беззлобной
Подводит жизни прожитой итог,
И кажется мне лилией надгробной
В летейских водах праздный поплавок.
Домов не тронут поздние укоры,
Не дрогнут до рассвета фонари.
Смотри — Парижа путевые сборы.
Опреди его, уйди, умри!

1938 или 1939

МОНРУЖ

Был нищий пригород, и день был сер,
Весна нас выгнала в убогий сквер,
Где небо призрачно, а воздух густ,
Где чудом кажется сирени куст,
Где не расскажет про тупую боль,
Вся в саже, бредовая лакфиоль,
Где малышей сажают на песок
И где тоска вгрызается в висок.
Перекликались слава и беда,
Росли и рассыпались города,
И умирал обманутый солдат
Средь лихорадки пафоса и дат.
Я знаю, век, не изменить тебе,
Твоей суровой и большой судьбе,
Но на одну минуту мне позволь
Увидеть не тебя, а лакфиоль,
Увидеть не в бреду, а наяву
Больную, золотушную траву.

1938 или 1939

* * *

Не торопясь, внимательный биолог
Законы изучает естества.
То был снаряда крохотный осколок,
И кажется, не дрогнула листва.
Прочтут когда-нибудь, что век был грозен,
Страницу трудную перевернут
И не поймут, как умирала озимь,
Как больно было каждому зерну.
Забыть чужого века созерцанье,
Искусства равнодушную игру,
Но только чье-то слабое дыханье
Собой прикрыть, как спичку на ветру.

1938 или 1939

* * *

На ладони — карта, с малолетства
Каждая проставлена река,
Сколько звезд ты получил в наследство,
Где ты пас ночные облака.
Был вначале ветер смертоносен,
Жизнь казалась горше и милей.
Принимал ты тишину за осень
И пугался тени тополей.
Отзвенели светлые притоки,
Стала глубже и темней вода.
Камень ты дробил на солнцепеке,
Завоевывал пустые города.
Заросли тропинки, где ты бегал,
Ночь сиреневая подошла.
Видишь — овцы, будто хлопья снега,
А доска сосновая тепла.

1938 или 1939

* * *

Сбегают с гор, грозят и плачут,
Стреляют, падают, ползут.
Рассохся парусник рыбачий,
И винодел срубил лозу.
Закутанные в одеяла,
Посты застыли наचेку.
Война сердца освежевала
И выпустила в ночь тоску.
Рука пощады не попросит.
Слова врага не обелят.
Зовут на выручку колосья,
Родные жадные поля.
Суров и грозен боя воздух,

**И пулемета голос лют.
А упадешь — земля и звезды,
И путь один — как кораблю.**

1938 или 1939

* * *

**Не здесь, на обломках, в походе, в окопе,
Не мертвых опрос и не доблести опись.
Как дерево, рубят товарища, друга.
Позволь, чтоб не сердце, чтоб камень, чтоб уголь!
Работать средь выстрелов, виселиц, пыток
И ночи крестить именами убитых.
Победа погибших, и тысяч, и тысяч —
Отлить из железа, из верности высечь,—
Обрублены руки, и, настезь отверсто,
Не бьется, врагами расклевано, сердце.**

Февраль 1939

* * *

**Жилье в горах — как всякое жилье:
До ночи пересуды, суп и скука,
А на веревке сушится белье,
И чешется, повизгивая, сука.
Но подымись — и сразу мир другой,
От тысячи подробностей очищен,
Дорога кажется большой рекой
И кораблем — убогое жилище.
О, если б этот день перерастаи
И с высоты, средь тишины и снега,
Взглянуть на розовую пыль пути,
На синий дым последнего ночлега!**

1939

Савойя

* * *

По тихим плитам крепостного плаца
Разводят незнакомых часовых.
Сказать о возрасте! Уж сны не снятся,
А книжка — с адресами неживых.
Стоят, не шелохнутся часовые.
Друзья редеют, и молчит беда.
Из слов остались самые простые:
Забота, воздух, дерево, вода.
На мир гляжу еще благоговейней —
Уж нет меня. Покоя тоже нет —
Чужое горе липнет, как репейник,
И я не в силах дать ему ответ.
Хожу, твержу, ищу такое слово,
Чтоб выразить всю тишину, всю боль —
Чужого мне, родного часового
С младенчества затверженный пароль.

1939

* * *

Есть перед боем час — всё выжидает:
Винтовки, кочки, мокрая трава.
И человек невольно вспоминает
Разрозненные, темные слова.
Хозяин жизни, он обводит взором
Свой трижды восхитительный надел,
Все, что вчера еще казалось вздором,
Что второпях он будто проглядел.
Как жизнь недожита! Добро какое!
Пора идти. А может, не пора!..
Еще цветут горячие левкои.
Они цвели... Вчера... Позавчера...

1939

* * *

Все простота: стекольные осколки,
Жар августа и духота карболки,
Как очищают от врага дорогу,
Как отнимают руку или ногу.
Умом мы жили и пустой усмешкой,
Не знали, что закончим перебежкой,
Что хрупки руки и гора поката,
Что договаривает все граната.
Редеет жизнь, и утром на постое
Припоминаешь самое простое:
Не ревность, не заносчивую славу —
Песочницу, млáденчества забаву.
Распались формы, а песок горячий
Ни горести не знает, ни удачи.
Осталась жизни только сердцевина:
Тепло руки и синий дым овина,
Луга туманные и зелень бука,
Высокая военная порука —
Не выдать друга, не отдать без боя
Ни детства, ни последнего покоя.

1939

* * *

О той надежде, что зову я вещей,
О вспугнутой, заплаканной весне,
О том, как зайчик солнечный трепещет
На исцарапанной ногтем стене.
[В Испании я видел, среди развалин
Рожала женщина, в тоске крича,
И только бабочки ночные знали,
Зачем горит оплывшая свеча.]
О горе и о молодости мира,

**О том, как просто вытекает кровь,
Как новый город в Заполярье вырос
И в нем стихи писали про любовь,
О трудном мужестве, о грубой стуже,
Как отбивает четверти беда,
Как сердцу отвечают крики ружей
И как молчат пустые города,
Как оживают мертвые маслины,
Как мечутся и гибнут облака
И как сжимает ком покорной глины
Неопытная детская рука.**

1939

НА МИТИНГЕ

**Судеб отдельных немота и сирость,
Скопление разрозненных обид,—
Не человек, но отрочество мира
Руками и сердцами говорит.
Надежду видел я, и, розы тоньше,
Как мягкий воск, послушная руке,
Она рождалась в кулаке поденщиц
И сгустком крови билась на древке.**

1939

Париж

* * *

**Ты тронул ветку, ветка зашумела.
Зеленый сон, как молодость, наивен.
Утешить человека может мелочь:
Шум листьев или летом светлый ливень,
Когда, омыт, оплакан и закапан,
Мир ясен — весь в одной повисшей капле,**

Когда доносится горячий запах
Цветов, что прежде никогда не пахли.
...Я знаю все — годов проломы, бреши,
Крутых дорог бесчисленные петли.
Нет, человека нелегко утешить!
И все же я скажу про дождь, про ветви.
Мы победим. За нас вся свежесть мира,
Все жилы, все побеги, все подростки,
Все это небо синее — навырост,
Как мальчика веселая матроска,
За нас все звуки, все цвета, все формы,
И дети, что, смеясь, кидают мячик,
И птицы изумительное горло,
И слезы простодушные рыбачек.

1939

* * *

Бомбы осколок. Расщеплены двери.
Все перепуталось — боги и звери.
Груди рассечены, крылья отбиты.
Праздно зияют глазные орбиты.
Ломкий, истерзанный, раненый камень
Невыносим и назойлив, как память.
(Что в нас от смутного детства осталось,
Если не эта бесцельная жалость!)

В полуразрушенном брошенном зале
Беженцы с севера заночевали.
Средь молчаливых торжественных статуй
Стонут старухи и плачут ребята.
Нимф и кентавров забытая драма —
Только холодный поверженный мрамор.
Но не отвяжется и не покинет
Белая рана убитой богини.
Грудь обнажив в простоте совершенства,

Женщина бережно кормит младенца.
Что ей ваятели! Созданы ею
Хрупкие руки и нежная шея.
Чмокают губы, и звук этот детский
Нов и невнятен в высокой мертвецкой.

1939

ДЫХАНИЕ

Мальчика игрушечный кораблик
Уплывает в розовую ночь,
Если паруса его ослабли,
Может им дыхание помочь,
То, что домогается и клянчит,
На морозе обретает цвет,
Одолеть не может одуванчик
И в минуту облетает свет,
То, что крепче мрамора победы,
Хрупкое, не хочет уступать,
О котором бредит напоследок
Зеркала нетронутая гладь.

1939

* * *

Самоубийцею в ущелье
С горы кидается поток,
Ломает вековые ели
И сносит камни, как песок.
Скорей бы вниз! И дни и ночи,
Не зная мира языка,
Грозит, упорствует, грохочет.

Так начинается река,
Чтоб после плавно и лениво
Качать рыбацкие челны
И отражать то трепет ивы,
То башен вековые сны.

Закончится и наше время
Среди лазоревых земель,
Где садовод лелеет семя
И мать качает колыбель,
Где летний день глубок и долог,
Где сердце тишиной полно
И где с руки усталый голубь
Клюет пшеничное зерно.

1939

У ПРИЕМНИКА

Был скверный день, ни отдыха, ни мира,
Угроз томительная хрипота,
Все бешенство огромного эфира,
Не тот обет, и жалоба не та.
А во дворе, средь кошек и пеленок,
Приемника перебивая вой,
Кричал уродливый, больной ребенок,
О стену бился рыжей головой,
Потом ребенка женщина чесала,
И, материнской гордостью полна,
Она его красавцем называла,
И вправду любовалась им она.
Не зря я слепоту зову находкой.
Тоску зажать, как мертвого птенца,
Пройти своей привычною походкой
От детских клятв до точки — до свинца.

1939

Я должен вспомнить — это было:
Играли в прятки облака,
Лениво теплая кобыла
Выхаживала сосунка,
Кричали вечером мальчишки,
Дожди поили резеду,
И мы влюблялись понаслышке
В чужую трудную беду.
Как годы обернулись в даты?
И почему в горячий день
Пошли небритые солдаты
Из ошалевших деревень?
Живи хоть час на полустанке,
Хоть от свистка и до свистка.
Оливой прикрывали танки
В Испании.

Опять тоска.

Опять несносная тревога
Кричит над городом ночным.
Друзья, перед такой дорогой
Присядем малость, помолчим,
Припомним все, как домочадцы,—
Ту резеду и те дожди,
Чтоб не понять, не догадаться,
Какое горе впереди.

1939

ВЕРНОСТЬ

Верность — прямо дорога без петель,
Верность — зрелой души добродетель,
Верность — августа слава и дым,
Зной, его не понять молодым,

Верность — вместе под пули ходили,
Вместе верных друзей хоронили.
Грусть и мужество — не расскажу.
Верность хлебу и верность ножу,
Верность смерти и верность обидам,
Бреда сердца не вспомню, не выдам.
В сердце целься! Пройдут по тебе
Верность сердцу и верность судьбе.

1939

В ЯНВАРЕ 1939

В сырую ночь ветра точили скалы.
Испания, доспехи волоча,
На север шла. И до утра кричала
Труба помешанного трубача.
Бойцы из боя выводили пушки.
Крестьяне гнали одуревший скот.
А детвора несла свои игрушки,
И был у куклы перекошен рот.
Рожали в поле, пеленали мукой
И дальше шли, чтоб стоя умереть.
Костры еще горели — пред разлукой,
Трубы еще не замирала медь.
Что может быть печальней и чудесней —
Рука еще сжимала горсть земли.
В ту ночь от слов освобождались песни
И шли деревни, будто корабли.

1939

ПОСЛЕ...

Проснусь, и сразу: не увижу я
Ее, горячую и рыжую,
Ее, сухую, молчаливую,
Одну под низкою оливою,
Не улыбнется мне приветливо
Дорога розовыми петлями,
Я не увижу горю почести,
Заботливость и одиночество,
Куэнку с красными обвалами
И белую до рези Малагу,
Ее тоску великодушную,
Июль с игрушечными пушками,
Мадрид, что прикрывал ладонями
Детей последнюю бессонницу.

1939

* * *

Бои забудутся, и вечер щедрый
Земные обласкает борозды,
И будет человек справлять у Эбро
Обыкновенные свои труды.
Все зарастет — развалины и память,
Зола олив не скажет об огне,
И не обмолвится могильный камень
О розовом потерянном зерне.
Совьют себе другие гнезда птицы,
Другой словарь придумает весна.
Но вдруг в разгул полуденной столицы
Вмешается такая тишина,
Что почтальон, дрожа, уронит письма,
Шоферы отвернутся от руля,
И над губами высоко повиснет
Вина оледеневшая струя,

Певцы гитару от груди отнимут,
Замрет среди пустыни паровоз,
И молча женщина протянет сыну
Патронов соты и надежды воск.

1939

* * *

Чем расставанье горше и труднее,
Тем проще каждодневные слова:
Больного сердца праздные затеи.
А простодушная рука мертва,
Она сжимает трубку или руку.
Глаза еще рассеянно юлят,
И вдруг ныряет в смутную разлуку
Как бы пустой, остекленелый взгляд.
О, если бы словами, но не теми,—
Быть может, взглядом, шорохом, рукой
Остановить, обезоружить время
И отобрать заслуженный покой!
В той немоте, в той неуклюжей грусти —
Начальная густая тишина,
Внезапное и чудное предчувствие
Глубокого полуденного сна.

1939 или 1940

* * *

Пред зрелищем небес, пред мира ширью,
Пред прелестью любого лепестка
Мне жизнь подсказывает перемирье,
И тщится горю изменить рука.
Как ласточки летают в поднебесье!

Как тих и дивен голубой покров!
Цветов и форм простое равновесье
Приостанавливает ход часов.
Тогда, чтоб у любви не засидеться,
Я вспоминаю средь ночи огонь,
Короткие гроба в чужой мертвецкой
И детскую холодную ладонь.
Глаза к огромной ночи приневолить,
Чтоб сердце не разнежилось, грустя,
Чтоб ненависть собой кормить и холить,
Как самое любимое дитя.

1939 или 1940

* * *

Ты вспомнил все. Остыла пыль дороги.
А у ноги хлопочут муравьи,
И это — тоже мир, один из многих,
Его не тронут горести твои.
Как разгадать, о чем бормочет воздух!
Зачем закат заночевал в листе!
И если вечером взглянуть на звезды,
Как разыскать себя в густой траве!

1939 или 1940

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА

Что было городом — дремучий лес,
И человек, услышав крик зловещий,
Зарылся в ночь от ярости небес,
Как червь слепой, томится и трепещет.
Ему теперь и звезды невдомек,
Глаза закрыты, и забиты ставни.

**Но вдруг какой-то беглый огонек —
Напоминание о жизни давней.
Кто тот прохожий! И куда спешит!
В кого влюблен!**

**Скажи ты мне на милость!
Ведь огонька столь необычен вид,
Что кажется — вся жизнь переменялась.**

**Откинуть мишуру минувших лет,
Принять всю грусть, всю наготу природы,
Но только пронести короткий свет
Сквозь черные, томительные годы!**

1939 или 1940

* * *

**Мы жили в те воинственные годы,
Когда, как джунглей буйные слоны,
Леса ломали юные народы
И прорывались в сон, истомлены.
Такой разгон, такое непоседство,
Что в ночь одну разгладились межи,
Растаял полюс, будто иней детства,
И замерли, пристыжены, стрижи.
Хребту приказано, чтоб расступиться,
Русло свое оставила река,
На север двинулись полки пшеницы,
И розы зацвели среди песка.
Так подчинил себе высокий разум
Лёт облака и смутный ход корней,
И стала ночь, обглоданная глазом,
Еще непостижимей и черней.
Стихи писали про любви уловки,
В подсумок зарывали дневники,
А женщины рожали на зимовке,
И уходили в море моряки.**

1940

* * *

Я знаю: будет золотой и долгий,
Как мед густой, непроходимый полдень,
И будут с гирями часы на кухне,
В саду гудеть пчела и сливы пахнуть.
Накроют к ужину, и будет вечер,
Такой же хрупкий и такой же вечный,
И женский плач у гроба не нарушит
Ни чина жизни, ни ее бездушья.

(1940)

* * *

В городе брошенных душ и обид
Горе не спросит и ночь промолчит.
Ночь молчалива, и город уснул.
Смутный доходит до города гул:
Это под темной больной синевой
Мертвому городу снится живой,
Это проходит по голой земле
Сон о веселом большом корабле,—
Ветер попутен, и гавань тесна,
В дальнее плаванье вышла весна.
Люди считают на мачтах огни;
Где он причалит, гадают они.
В городе горе, и ночь напролет
Люди гадают, когда он придет.
Ветер вздувает в ночи паруса.
Мертвые слышат живых голоса.

1940

* * *

Кончен бой. Над горем и над славой
В знойный полдень голубеет явор.
Мертвого солдата тихо нежит
Листьев изумительная свежесть.
О деревья, мира часовые,
Сизо-синие и голубые!
Под тобой пастух играл на дудке,
Отдыхал, тобой обласкан, путник.
И к тебе шутя пришли солдаты.
Явор счастья, убаюкай брата!

1940

* * *

Как эти сосны и строенья
Прекрасны в зеркале пруда,
И сколько скрытого волненья
В тебе, стоячая вода!
Кипят на дне глухие чувства,
Недвижен темных вод покров,
И кажется, само искусство
Освобождается от слов.

1940

* * *

Где играли тихие дельфины,
Далеко от зелени земли,
Нарываясь по ночам на мины,
Молча умирают корабли.
Суматошливый, большой и хрупкий,

Человек не предает мечты,—
Погибая, он спускает шлюпки,
Сбрасывает сонные плоты.
Синевой охваченный, он верит,
Что земля любимая близка,
Что ударится о светлый берег
Легкая, как жалоба, доска.
Видя моря яростную смуту,
Средь ночи, измученный волной,
Он еще в последнюю минуту
Бредит берегом и тишиной.

1940

* * *

Города горят. У тех обид
Тонны бомб, чтоб истолочь гранит.
По дорогам, по мостам, в крови,
Проползают ночью муравьи,
И летит, летит, летит щепка —
Липы, ружья, руки, черепа.
От полей исходит трупный дух.
Псы не лают, и молчит петух,
Только говорит про мертвый кров
Рев больных, недоеных коров.
Умирает голубая ель
И олива розовых земель,
И родства не помнящий лишай
Научился говорить «прощай»,
И на ста языках человек,
Умирая, прокликает век.
...Будет день, и прорастет она —
Из костей, как всходят семена,—
От сетей, где севера треска,
До Сахары праздного песка,

Всколосятся руки и штыки,
Зашагают мертвые полки,
Зашагают ноги без сапог,
Зашагают сапоги без ног,
Зашагают горя города,
Выплывут утопшие суда,
И на вахту встанет без часов
Тень товарища и облаков.
Вспомнит старое крапивы злость,
Соком ярости нальется гроздь,
Кровь проступит сквозь земли тоску,
Кинется к разбитому древку,
И труба поведает, крича,
Сны затравленного трубача.

1940

Москва

ВОЗЛЕ ФОНТЕНБЛО

Обрывки проводов. Не позвонит никто.
Как человек, подмигивает мне пальто.
Хозяева ушли. Еще стоит еда.
Еще в саду раздавленная резеда.
Мы едем час, другой. Ни жизни, ни жилья.
Убитый будто спит. Смеется клочок белья.
Размолот камень, и расщеплен грустный бук.
Леса без птиц, и нимфа дикая без рук.
А в мастерской, среди красок, кружев и колец,
Гранатой замахнулся на луну мертвец,
И синевой припудрено его лицо.
Как трудно вырастить простое деревцо!
Опять развалины — до одури, до сна.
Невыносимая чужая тишина.
Скажи, неужто был обыкновенный день,
Когда над детворой еще цвела сирень!

1940

* * *

В лесу деревьев корни сплетены,
Им снятся те же медленные сны,
Они поют в одном согласном хоре,
Зеленый сон, земли живое море.
Но и в лесу забыть я не могу:
Чужой реки на мутном берегу,
Один как перст, непримирим и страстен,
С ветрами говорит высокий ясень.
На небе четок каждый редкий лист.
Как, одиночество, твой голос чист!

1940

* * *

Был бомбой дом как бы шутя расколот.
Убитых выносили до зари.
И ветер подымал убогий полог,
Случайно уцелевший на двери.
К начальным снам вернулись мебель, утварь.
Неузнаваемый, рождая страх,
При свете дня торжественно и смутно
Глядел на нас весь этот праздный прах.
Был мертвый человек, стекла осколки,
Зола, обломки бронзы, чугуна.
Вдруг мы увидели на узкой полке
Стакан и в нем еще глоток вина...
Не говори о крепости порфира,
Что уцелеет, если не трава,
Когда идут столетия на выруб
И падают, как ласточки, слова!

1940

У ПРИЕМНИКА

Над крышами Парижа весна не зашумит,
И жемчуг не нанижет кудрявая Мими.
Средь темной ночи слышишь (а ночь давно
мертва),

Как умирают мыши и как растет трава.
И равнодушно диктор, не рад и не сердит,
На десяти языках о смерти говорит:
Как тонут тонны боли, как выхолот народ,
И трупы — это только торговый оборот.
Но вдруг, как моря склянки, для мира и для нас
Кремлевские куранты вызванивают час.
Ты, может, из театра сейчас идешь домой...
И как мне непонятно, что этот город — мой,
Что над часами звезды, что я еще живой,
Что даже черный воздух становится Москвой!
Часы все ближе, ближе, они томят меня.
Над крышами Парижа ни звуков, ни огня.

1940

ПАРИЖ, 1940

1

Умереть и то казалось легче.
Был здесь каждый камень мил и дорог.
Вывозили пушки. Жгли запасы нефти.
Падал черный дождь на черный город.
Женщина сказала пехотинцу
(Слезы черные из глаз катились):
«Погоди, любимый, мы простимся»,—
И глаза его остановились.
Я увидел этот взгляд унылый.
Было в городе черно и пусто.
Вместе с пехотинцем уходило
Темное, как человек, искусство.

Не для того писал Бальзак.
 Чужих солдат чугунный шаг.
 Ночь навалилась, горяча.
 Бензин и конская моча.
 Не для того — камням молюсь —
 Упал на камни Делеклюз.
 Не для того тот город рос,
 Не для того те годы гроз,
 Цветов и звуков естество,—
 Не для того, не для того!
 Лежит расстрелянный без пуль.
 На голой улице патруль:
 Так люди предали слова,
 Траву так предала трава,—
 Предать себя, предать других.
 А город пуст, и город тих,
 И тяжелее чугуна
 Угодливая тишина:
 По городу они идут,
 И в городе они живут,
 Они про город говорят,
 Они над городом летят,
 Чтоб ночью город не уснул,
 Моторов точен грозный гул.
 На них глядят исподтишка,
 И задыхается тоска.
 Глаза закрой и промолчи,—
 Идут чужие трубачи,
 Чужая медь, чужая спесь.
 Не для того я вырос здесь!

Глаза погасли, и холод губ,
 Огромный город, не город — труп,

Где люди жили, растет трава,
Она приснилась и не жива.
Был этот город густым, как лес,
Простым, как горе, и он исчез.
Дома остались. Но никого.
Не дрогнут ставни. Забудь его!
Ты не забудешь, но ты забудь,
Как руки улиц легли на грудь,
Как стала Сена, пожрав мосты,
Рекой забвенья и немоты.

4

Упали окон вековые веки.
От суеты земной отрешены,
Гуляли церемонные калеки,
И на луну глядели горбуны.
Старухи, вытянув паучьи спицы,
Прохладный саван бережно плели.
Коты кричали. Умирили птицы.
И памятники по дорогам шли.
Уснув в ту ночь, мы утром не проснулись.
Был сер и нежен города скелет.
Мы узнавали все суставы улиц,
Все перекрестки юношеских лет.
Часы не били. Стали звезды ближе.
Пустынен, дик, уму непостижим,
В забытом всеми, брошенном Париже
Уж цепенел необозримый Рим.

5

Номера домов, имена улиц,
Город мертвых пчел, брошенный улей.
Старухи молчат, в мусоре роясь.
Не придут сюда ни сон, ни поезд,
Не придут сюда от живых письма,

Не всхлипнет дитя, не грянет выстрел.
Люди не придут. Умереть поздно.
В городе живут мрамор и бронза.
Нимфа слез и рек — тишина, сжался! —
Ломает в тоске мертвые пальцы.
Маршалы, кляня века победу,
На мертвых конях едут и едут.
Мертвый голубок — что ему снится! —
Как зерно, клюет глаза провидца.
А город погнб. Он жил когда-то,
Он бьется в груди забытых статуй.

6

Уходят улицы, узлы, базары,
Танцоры, костыли и сталевары,
Уходят канарейки и матрацы,
Дома кричат: «Мы не хотим остаться»,
А на соборе корчатся уродцы,—
Уходит жизнь, она не обернется.
Они идут под бомбы и под пули,
Лунатики, они давно уснули,
Они идут, они еще живые,
Но перед ними те же часовые,
И тот же сон, и та же несвобода,
И в беге нет ни цели, ни исхода:
Уйти нельзя, нельзя мечтать о чуде,
И все ж они идут, не камни — люди.

7

Над Парижем грусть. Вечер долгий.
Улицу зовут «Ищу полдень».
Кругом никого. Свет не светит.
Полдень далеко, теперь вечер.
На гербе корабль. Черная гавань.
Его трюм — гроба, парус — саван.

Не сказать «прости», не заплакать.
Капитан свистит. Поднят якорь.
Девушка идет, она ищет,
Где ее любовь, где кладбище.
Не кричат дрозды. Молчит память.
Идут, как слепцы, ищут камень.
Каменщик молчит, не ответит,
Он один в ночи ищет ветер.
Иди, не говори, путь тот долгий,—
Это весь Париж ищет полдень.

8

Как дерево в большие холода,
Ольха или вяз, когда реки вода,
Оцепенев, молчит, и ходит вьюга,
Как дерево обманутого юга,
Что, к майскому готовясь торжеству,
Придумывает сквозь снега листву,
Зовет малиновок и в смертной муке
Иззябшие заламывает руки,—
Ты в эту зиму с ночью говоришь,
Расщепленный, как старый вяз, Париж.

1940

* * *

Есть в хаосе самом высокий строй,
Тот замысел, что кажется игрой,
И, может быть, начертит астроном
Орбиту сердца, тронутого сном.
Велик и дивен океана плач.
У инея учился первый ткач.
Сродни приливам и корням близка
Обыкновенной женщины тоска.

**И есть закон для смертоносных бурь
И для горшечника, кладущего глазурь,—
То ход страстей, и зря зовут судьбой
Отлеты птиц иль орудийный бой.
Художнику свобода не дана,
Он слышит, что бормочет тишина,
И, как лунатик, выйдя в темноту,
Он осязает эту темноту.
Не переставить звуки и цвета,
Не изменить кленового листа,
И дружбы горяча тяжелая смола,
И вечен след от легкого весла.**

(1941)

* * *

**Все за беспамятство отдать готов,
Но не забыть ни звуков, ни цветов,
Ни сверстников, ни смутного ребячества
(Его другие перепишут начисто).
Вкруг сердцевины кольца narосли.
Друзей все меньше: вымерли, прошли.
Сгребают сено девушки веселые,
И запах сена веселит, как молодость:
Все те же лица, клятвы и слова:
Так пахнет только мертвая трава.**

(1941)

* * *

**Та заморская чужая сырость,
Желтизна туманов заводских,
Он по щучьему веленью вырос
И с рожденья походил на стих.**

До чего прекрасен он и страшен!
Двух столетий слава и порфир,
И чахоточных чиновниц кашель,
Что, как песня, обошел весь мир.
Пробирались по земле промерзлой,
Не видали в темноте ни зги,
И стучали азбукою Морзе
Первые путиловцев шаги.
Город, вытканый из длинных линий,
Кони вздыблены, им не помочь.
Их до времени состарил иней,
И поводья подхватила ночь.

Январь 1941

* * *

Замерзшее окно как глаз слепца.
Я не забуду твоего лица.
А на окне — зеленый стебелек,
Все, что от времени я уберег:
В краю, где вьется легкая лоза,
Зеленые туманные глаза.

Январь 1941

* * *

Бродят Рахили, Хаимы, Лии,
Как прокаженные, полуживые,
Камни их травят, слепы и глухи,
Бродят, разувшись пред смертью, старухи,
Бродят младенцы, разбужены ночью,
Гонит их сон, земля их не хочет.
Горе, открылась старая рана,
Мать мою звали по имени — Хана.

Январь 1941

* * *

Белесая, как марля, мгла
Скрывает мира очертанье,
И не растрогает стекла
Мое убогое дыханье.
Изобразил на нем мороз,
Чтоб сердцу биться не хотелось,
Корзины вымышленных роз
И пальм былых окаменелость,
Язык безжизненной зимы
И тайны памяти лоскутной.
Так перед смертью видим мы
Знакомый мир, большой и смутный.

Январь 1941

* * *

Не раз в те грозные, больные годы,
Под шум войны, среди нищенства природы,
Я перечитывал стихи Ронсара,
И волшебство полуденного дара,
Игра любви, печали легкой тайна,
Слова, рожденные как бы случайно,
Законы строгие спокойной речи
Пугали мир ущерба и увечий.
Как это просто все! Как недоступно!
Любимая, дышать и то преступно...

Январь 1941

ЛОНДОН

Не туманами, что ткали Парки,
И не парами в зеленом парке,
Не длиной,— а он длиннее сплина,—
Не трезубцем моря властелина,—
Город тот мне горьким горем дорог,
По ночам я вижу черный город,
Горе там сосчитано на тонны,
В нежной сырости сирены стонут,
Падают дома, и день печален
Средь чужих уродливых развалин.
Но живые из щелей выходят,
Говорят, встречаясь, о погоде,
Убирают с тротуаров мусор,
Покупают зеркальце и бусы.
Ткут и ткут свои туманы Парки.
Зелены загадочные парки.
И еще длинней печали версты,
И людей еще темней упорство.

Январь 1941

Москва

1941

Мяли танки теплые хлеба,
И горела, как свеча, изба.
Шли деревни. Не забыть вовек
Визга умирающих телег,
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог.
Но тогда на жадного врага
Ополчились нивы и луга,
Разъярился даже горицвет,
Дерево и то стреляло вслед,

Ночью партизанили кусты
И взлетали, как щепы, мосты,
Шли с погоста деда и отцы,
Пули подавали мертвецы,
И, косматые, как облака,
Врукопашную пошли века.
Шли солдаты бить и перебить,
Как ходили прежде молотить.
Смерть предстала им не в высоте,
А в крестьянской древней простоте,
Та, что пригорюнилась, как мать,
Та, которой нам не миновать.
Затвердело сердце у земли,
А солдаты шли, и шли, и шли,
Шла Урала темная руда,
Шли, гремя, железные стада,
Шел Смоленщины дремучий бор,
Шел глухой, зазубренный топор,
Шли пустые, тусклые поля,
Шла большая русская земля.

1941 или 1942

* * *

Привели и застрелили у Днепра.
Брат был далеко. Не слышала сестра.
А в Сибири, где уж выпал первый снег,
На заре проснулся бледный человек
И сказал: «Железо у меня в груди.
Киев, Киев, если можешь, погляди!..»
«Киев, Киев! — повторяли провода.—
Вызывает горе, говорит беда».
«Киев, Киев!» — надрывались журавли.
И на запад эшелоны молча шли.

**И от лютой человеческой тоски
Задыхались крепкие сибиряки...**

1941 или 1942

УБЕЙ!

Как кровь в виске твоём стучит,
Как год в крови, как счёт обид,
Как горем пьян и без вина,
И как большая тишина,
Что после пуль и после мин,
И в сто пудов, на миг один,
Как эта жизнь — не ешь, не пей
И не дыши — одно: убей!
За сжатый рот твоей жены,
За то, что годы сожжены,
За то, что нет ни сна, ни стен,
За плач детей, за крик сирен,
За то, что даже образа
Свои проплакали глаза,
За горе оскорбленных пчел,
За то, что он к тебе пришел,
За то, что ты — не ешь, не пей,
Как кровь в виске — одно: убей!

1942

* * *

**Наступали. А мороз был крепкий.
Пахло гарью. Дым стоял тяжелый.
И вдали горели, будто щепки,
Старые насиженные села.
Догорай, что было сердцу любо!**

Хмурились и шли еще поспешней.
А от прошлого остались трубы
Да на голом дереве скворешня.
Над золою женщина сидела,—
Здесь был дом ее, родной и милый,
Здесь она любила и жалела
И на фронт отсюда проводила.
Теплый пепел. Средь густого снега
Что она еще припоминала!
И какое счастье напоследок
Руки смутные отогрело!
И хотелось бить и сквернословить,
Перебить — от жалости и злобы.
А вдали как будто теплой кровью
Обливались мертвые сугробы.

1942

НЕНАВИСТЬ

Ненависть — в тусклый январский полдень
Лед и сгусток замерзшего солнца.
Лед. Под ним клокочет река.
Рот забит, говорит рука.
Нет теперь ни крыльца, ни дыма,
Ни тепла от плеча любимой,
Ни калитки, ни лая собак,
Ни тоски. Только лед и враг.
Ненависть — сердца последний холод.
Все отошло, ушло, расколосось.
Пуля от сердца сердце найдет.
Чуть задымится розовый лед.

1942

* * *

Знакомые дома не те.
Пустыня затемненных улиц.
Не говори о темноте:
Мы не уснули, мы проснулись.
Избыток света в поздний час
И холод нового познания,
Как будто третий, вещий глаз
Глядит на рухнувшие зданья.
Нет, ненависть не слепота —
Мы видим мир, и сердцу внове
Земли родимой красота
Средь горя, мусора и крови.

1942

* * *

Они накиннулись, неистовы,
Могильным холодом грозя,
Но есть такое слово «выстоять»,
Когда и выстоять нельзя,
И есть душа — она все вытерпит,
И есть земля — она одна,
Большая, добрая, сердитая,
Как кровь, тепла и солона.

1942

* * *

Настанет день, скажи — неумолимо,
Когда, закончив ратные труды,
По улицам сраженного Берлина
Пройдут бойцов суровые ряды.

От злобы побежденных или лести
Своим значением ограждены,
Они ни шуткой, ни любимой песней
Не разрядят нависшей тишины.
Взглянув на эти улицы чужие,
На мишуру фасадов и оград,
Один припомнит омраченный Киев,
Другой — неукротимый Ленинград.
Нет, не забыть того, что было раньше.
И сердце скажет каждому: молчи!
Опустит руки строгий барабанщик,
И меди не коснутся трубачи.
Как тихо будет в их разбойном мире!
И только, прошлой кровью тяжелы,
Не перестанут каменных валькирий
Когтить кривые прусские орлы.

1942

* * *

Большая черная звезда.
Остановились поезда.
Остановились корабли.
Травой дороги поросли.
Молчат бульвары и сады.
Молчат унылые дрозды.
Молчит Марго, бела, как мел,
Молчит Гюго, он онемел.
Не бьют часы. Застыл фонтан.
Стоит, не двинется туман.

Но вот опять вошла зима
В пустые темные дома.
Париж измучен, ночь не спит,
В бреду он на восток глядит:

Что значат беглые огни!
Куда опять идут они!
Ты можешь жить! Я не живу.
Молчи, они идут в Москву,
Они идут за годом год,
Они берут за дотом дот,
Ты не подынешь головы —
Они уж близко от Москвы.
Прощай, Париж, прощай навек!
Далекий дым и белый снег.

Его ты белым не зови:
Он весь в огне, он весь в крови.
Гляди — они бегут назад,
Гляди — они в снегу лежат.

Пылает море серых крыш,
И на заре горит Париж,
Как будто холод тех могил
Его согрел и оживил.
Я вижу свет и снег в крови.
Я буду жить. И ты живи.

1942

* * *

Так ждать, чтоб даже память вымерла,
Чтоб стал непроходимым день,
Чтоб умирать при милом имени
И догонять чужую тень,
Чтоб не довериться и зеркалу,
Чтоб от подушки угаить,
Чтоб свет своей любви и верности
Зарыть, запрятать, затемнить,
Чтоб пальцы невзначай не хрустнули,

**Чтоб вздох и тот зажать в руке.
Так ждать, чтоб, мертвый, он почувствовал
Горячий ветер на щеке.**

1942

* * *

**Он пригорюнится, притулится,
Свернет, закурит и вздохнет,
Что есть одна такая улица,
А улицы не назовет.
Врага он встретит у обочины.
А вдруг откажет пулемет,
Он скажет: «Жить кому не хочется» —
И сам с гранатой поползет.**

1942

* * *

**Когда закончен бой, присев на камень,
В грязи, в поту, измученный солдат
Глядит еще незрячими глазами
И другу отвечает невпопад.
Он, может быть, и закурить попросит,
Но не закурит, а махнет рукой.
Какие жал он трудные колосья,
И где ему почудился покой!
Он с недоверьем оглядит избушки
Давно ему знакомого села,
И, невзначай рукой щеки коснувшись,
Он вздрогнет от внезапного тепла.**

1942

* * *

На небо зенитки смотрят зорко,
А весна — весной, грачи — грачами.
Девушка в линиялой гимнастерке
С яркими зелеными зрачками.
Покричала, поворчала пушка
И замолкла. Тишина какая!
Только долгий счет ведет кукушка
И, сбиваясь, снова начинает.
Девушка про счастье загадала,
Сколько жить ей — много или мало.
И зенитки на небо смотрели.
А кукушка просто куковала,
И деревья просто зеленели.

1942

* * *

С ручной гранатой иль у пушки,
Иль в диком конников строю
Он слышит, как услышал Пушкин:
«Есть упоение в бою».
Он знает все. Спокойно целясь,
Он к смерти запросто готов.
Но для него все та же прелесть
В звучании далеких слов,
И, смутным гулом русской речи
Как бы наполнен до краев,
Он смерти кинется навстречу
И не почувствует ее.

1942

* * *

Когда враждебным небо стало,
Нарисовали мы дома,
Прикрыли зеленью каналы
И даже смерть свели с ума.
Кто вырастил густые рощи,
Кто город весь перевернул,
Кто превратил пустую площадь
В какой-то сказочный аул!
Не так ли ночью перед боем
Полуразбуженный солдат
Преображает все бывшее
В один необозримый сад,
Чтоб не было того, что было,
Чтоб за минуту до конца
Зеленая листва прикрыла
Черты любимого лица.

1942

* * *

Зайдешь к танкистам, и в чужой землянке
Сосед про то про се поговорит,
А после вспомнит о подбитом танке
И на тебя украдкой поглядит.
В его глазах тогда не отразятся
Огни повисших вдалеке ракет,
Но ты увидишь боевого братства
Рассеянный и вдохновенный свет.
Ты все поймешь — тот взгляд слова заменит,
И, вглядываясь в голубую тьму,
Ты улыбнешься незнакомой тени,
Как ты не улыбался никому.

1942

* * *

Был лютый мороз. Молодые солдаты
Любимого друга по полю несли.
Молчали. И долго стучали лопаты
В упрямое сердце промерзшей земли.
Скажи мне, товарищ... Словами не скажешь,
А были слова — потерял на войне.
Ружейный салют был печален и важен
В холодной, в суровой, в пустой тишине.
Могилу прикрыли. А ночью — в атаку.
Боялись они оглянуться назад.
Но кто там шагает? Друзьями оплакан,
Своих земляков догоняет солдат.
Он вместе с другими бросает гранаты,
А если залягут, он крикнет «ура»,
И место ему оставляют солдаты,
Усевшись вокруг золотого костра.
Его не увидеть. Повестку о смерти
Давно получили в далеком краю.
Но разве уступит солдатское сердце
И дружба, рожденная в трудном бою!

1942

* * *

Бывала в доме, где лежал усопший,
Такая тишина, что выли псы,
Испуганная, в мыле билась лошадь,
И слышно было, как идут часы.
Там на кровати, чересчур громоздкой,
Торжественно покойник почивал,
И горе молча отмечалось воском
Да слепотой завешенных зеркал.

В пригожий день, среди кустов душистых,
Когда бы человеку жить и жить,
Я увидел убитого связиста,—
Он все еще сжимал стальную нить,
В глазах была привычная забота,
Как будто, мертвый, опоздать боясь,
Он торопливо спрашивал кого-то,
Налажена ли прерванная связь.
Не знали мы, откуда друг наш смелый,
Кто ждет его в далеком городке,
Но жизнь его дышала и гудела,
Как провод в холодеющей руке.
Быть может, здесь, в самозабвенье сердца,
В солдатской незагаданной судьбе,
Таится то высокое бессмертье,
Которое мерещилось тебе!

1942

* * *

Я помню — был Париж. Краснели розы
Под газом в затуманенном окне,
Как рана. Нимфа мраморная мерзла.
Я шел и смутно думал о войне.
Мой век был шумным, люди быстро гасли.
А выпадала тихая весна —
Она пугала видимостью счастья,
Как на войне пугает тишина.
И снова бой. И снова пулеметчик
Лежит у погоревшего жилья.
Быть может, это все еще хлопочет
Ограбленная молодость моя!
Я верен темной и сухой обиде,
Ее не позабыть мне никогда,
Но я хочу, чтоб юноша увидел
Простые и счастливые года.

**Победа — не гранит, не мрамор светлый,—
В грязи, в крови, озябшая сестра,
Она придет и сядет незаметно
У бледного погасшего костра.**

1942

* * *

**По рытвинам, среди мусора и пепла,
Корова тащит лес. Она ослепла.
В ее глазах вся наша темнота.
Переменились формы и цвета.
Пойми, мне жаль не слов — слова заменят,
Мне жаль былых высоких заблуждений.
Бывает свет сухих и трезвых дней,
С ним надо жить, он темноты темней.**

Лето 1943

* * *

**В росчерк спички он, глумясь, вложил
Всю тоску своих звериных сил.
Темный, он хотел поджечь века.
Жадная обуглена рука.
Он сгорел в осенней тишине
На холодном голубом огне.**

Между октябрем и декабрем 1943

* * *

Все взорвали. Но гляди — средь щебня,
Средь развалин, роз земли волшебней,
Розовая, в серой преисподней,
Роза стали зацвела сегодня.
И опять идет в цехах работа.
И опять тебя томит забота.
Что ж, родная, будем жить сначала,—
Сердцу, видно, и такого мало.

Между октябрем и декабрем 1943

В БЕЛОРУССИИ

Мы молчали. Путь на запад шел
Мимо мертвых догоравших сел,
И лежала голая земля,
Головнями тихо шевеля.
Я запомню, как последний дар,
Этот сердце ледящий жар,
Эту ночь, похожую на день,
И средь пепла брошенную тень.
Запах гари едок, как беда,
Не отвяжется он никогда,
Он со мной, как пепел деревень,
Как белесая, больная тень,
Как огрызок вымершей луны
Средь чужой и новой тишины.

Между октябрем и декабрем 1943

* * *

Было в жизни мало резеды,
Много крови, пепла и беды.
Я не жалею на свой удел,
Я бы только увидеть хотел
День один, обыкновенный день,
Чтобы дерева густая тень
Ничего не значила, темна,
Кроме лета, тишины и сна.

Между октябрем и декабрем 1943

* * *

Был час один — душа ослабла.
Я видел Глухова сады
И срубленных врагами яблонь
Еще незрелые плоды.
Дрожали листья. Было пусто.
Мы постояли и ушли.
Прости, великое искусство,
Мы и тебя не сберегли.

Между октябрем и декабрем 1943

* * *

Белеют мазанки. Хотели сжечь их,
Но не успели. Вечер. Дети. Смех.
Был бой за хутор, и один разведчик
Остался на снегу. Вдали от всех
Он как бы спит. Не бьется больше сердце.
Он долго шел — он к тем огням спешил.
И если не дано уйти от смерти —
Он, умирая, смерть опередил.

Между октябрем и декабрем 1943

* * *

Запомни этот ров. Ты все узнал:
И города сожженного оскал,
И черный рот убитого младенца,
И ржавое от крови полотенце.
Молчи — словами не смягчить беды.
Ты хочешь пить, но не ищи воды.
Тебе даны не воск, не мрамор. Помни —
Ты в этом мире всех бродяг бездомней.
Не обольстись цветком: и он в крови.
Ты видел все. Запомни и живи.

Между октябрем и декабрем 1943

* * *

Было в слове «русский» столько доброты,
Столько русой, грустной, чудной простоты.
Снег слезами обливался. Помним мы
Все проталины отходчивой зимы.
А теперь и у доверчивых берез,
Если сердце есть, ты не отыщешь слез.
Славы и беды холодная ладонь
В эту зиму обжигает, как огонь.

Между октябрем и декабрем 1943

* * *

Скребет себя на пепле Иов,
И дым глаза больные выел,
А что здесь было — нет его.
И никого, и ничего.
Зола густая тихо стынет.

Так вот она, его пустыня.
Он отнял не одно жилье —
Он сердце обобрал мое.
Сквозь эту ночь мне не пробраться.
Зачем я говорил про братство?
Зачем в горах звенел рожок!
Зачем я голос твой берег!
Постой. Подумай. Мы не знали,
В какое счастье мы играли.
Нет ничего. Одна зола
По-человечески тепла.

1943

ЕВРОПА

Летучая звезда и моря ропот,
Вся в пене, розовая, как заря,
Горячая, как сгусток янтаря,
Среди олив и дикого укропа,
Вся в пепле, роза поздняя раскопок,
Моя любовь, моя Европа!
Я исходил петлистые дороги
С той пылью, что старее серебра,
Я знаю теплые твои берлоги,
Твои сиреневые вечера
И глину под ладонью гончара.
Надышанная светлая обитель,
Больших веков душистый сеновал,
Горшечник твой, как некогда Пракситель,
Брал горсть земли и жизнь в нее вдувал.
Был в Лувре небольшой, невзрачный зал.
Безрукая доверчиво, по-женски
Напоминала нам о красоте.
И плакал перед нею Глеб Успенский,
А Гейне знал, что все слова не те.

**В Париже, среди машин, по-деревенски
Шли козы. И свирель впивалась в день.
Был воздух зацелованной святыней,
И мастерицы простодушной тень
По скверу проходила, как богиня.
Твои черты я узнаю в пустыне,
Горячий камень дивного гнезда,
Средь серы, среди огня, в ночи потопа,
Летучая зеленая звезда,
Моя звезда, моя Европа!**

1943

* * *

**Были липы, люди, купола.
Мусор. Битое стекло. Зола.
Но смотри — среди разбитых плит
Уж младенец выполз и сидит,
И сжимает слабая рука
Горсть сырого теплого песка.
Что он вылепит! Какие сны!
А года чернеют, сожжены...
Вот и вечер. Нам идти пора.
Грустная и страстная игра.**

1943

* * *

**Гляжу на снег, а в голове одно:
Ведь это — день, а до чего темно!
И солнце зимнее, оно на час,
Торопится — глядишь, и день погас.
Под деревом солдат. Он шел с утра.**

**Зачем он здесь! Ему идти пора.
Он не уйдет. Прошли давно войска,
И день прошел. Но не пройдет тоска.**

1943

* * *

**Есть время камни собирать,
И время есть, чтоб их кидать.
Я изучил все времена,
Я говорил: на то война,
Я камни на себе таскал,
Я их от сердца отрывал,
И стали дни еще темней
От всех раскиданных камней.
Зачем же ты киваешь мне
Над той воронкой в стороне,
Не резонер и не пророк,
Простой дурашливый цветок!**

1943

* * *

**Слов мы боимся, и все же прощай.
Если судьба нас сведет невзначай,
Может, не сразу узнаю я, кто
Серый прохожий в дорожном пальто,
Сердце подскажет, что ты — это тот,
Сорок второй и единственный год.
Ржев догорал. Мы стояли с тобой,
Смерть примеряли. И начался бой...
Странно устроен любой человек:
Страстно клянется, что любит навек,**

**И забывает, когда и кому...
Но не изменит и он одному:
Слову скупому, горячей руке,
Ржевскому лесу и ржевской тоске.**

1944

* * *

**Ракеты салютов. Чем небо черней,
Тем больше в них страсти растерзанных дней.
Летят и сгорают. А небо черно.
И если себя пережить не дано,
То ты на минуту чужие пути,
Как эта ракета, собой освети.**

1944

* * *

**Мир велик, а перед самой смертью
Остается только эта горстка,
Теплая и темная, как сердце,
Хоть ее и называли черствой,
Горсть земли, похожей на другую,—
Сколько в ней любви и суеверья!
О такой и на небе тоскуют,
И в такую до могилы верят.
За такую, что дороже рая,
За лужайку, дерево, болотце,
Ничего не видя, умирают
В час, когда и птица не проснется.**

1944

БАБИЙ ЯР

К чему слова и что перо,
Когда на сердце этот камень,
Когда, как каторжник ядро,
Я волочу чужую память?
Я жил когда-то в городах,
И были мне живые милы,
Теперь на тусклых пустырях
Я должен разрывать могилы,
Теперь мне каждый яр знаком,
И каждый яр теперь мне дом.
Я этой женщины любимой
Когда-то руки целовал,
Хотя, когда я был с живыми,
Я этой женщины не знал.
Мое дитя! Мои румяна!
Моя несметная родня!
Я слышу, как из каждой ямы
Вы окликаете меня.
Мы понатужимся и встанем,
Костями застучим — туда,
Где дышат хлебом и духами
Еще живые города.
Задуйте свет. Спустите флаги.
Мы к вам пришли. Не мы — овраги.

1944

* * *

В это гетто люди не придут.
Люди были где-то. Ямы тут.
Где-то и теперь несутся дни.
Ты не жди ответа — мы одни,
Потому что у тебя беда,

Потому что на тебе звезда,
Потому что твой отец другой,
Потому что у других покой.

1944

* * *

За то, что зной полуденный Эсфири,
Как горечь померанца, как мечту,
Мы сохранили и в холодном мире,
Где птицы застывают на лету,
За то, что нами говорит тревога,
За то, что с нами водится луна,
За то, что есть петлистая дорога
И что слеза не в меру солона,
Что наших девушек отличен волос,
Не те глаза и выговор не тот,—
Нас больше нет. Остался только холод.
Трава кусается, и камень жжет.

1944

РОССИЯ

Когда в пургу ворвутся кони,
Она благословит бойца,
Ее горячие ладони
Коснутся смутного лица.
Она для сердца больше значит,
Чем все обеты, все пути.
И если дерево — на мачты,
И если камень — улети,
И если не пройти — тараном,
И если смерть — переступи

И стой один седым курганом
В пустой заснеженной степи.
Ты видишь, выйдя из окопа,—
Она, оснащена тобой,
Пересекает ночь Европы.
И сквозь тяжелый, долгий бой,
Сквозь зарева туман кровавый
Ты видишь под большой луной
Броню тяжелую державы
И хлопья пены кружевной.

(1945)

* * *

Россия — в слове том не только славы
Хранители, великие года,—
В нем строгая приподнятость державы
И теплота родимого гнезда.
И что ты вспомнишь, повторив то слово:
Адмиралтейство и гранит реки
Иль накануне утра рокового
Стыдливый жар девической щеки!
Но в каждом холмике и в каждой елке
Черты того же милого лица,
И в смехе простодушной комсомолки,
И в тихом скрипе ветхого крыльца.

(1945)

* * *

Прости — одна есть рифма к слову «смерть»:
Осточертевшая, как будто в стужу
Могилу роют, мерзлая земля
Упорствует, и твердь не поддается.

Ты рифмы не подыщешь к слову «жизнь»,
Ни отклика, ни даже отголоска.
А сколько слез, признаний, сколько просьб!
Все говорят, никто не отвечает.

(1945)

* * *

Я не завидую ни долголетью дуба,
Ни журавлям, ни кораблям, ни человеку,
Чьи ослепительные зубы
Сверкают на экранах
Будущего века.
В музеях плачут мраморные боги.
А люди плакать разучились. Всем
Немного совестно и как-то странно.
Завидую я только тем,
Кто умер на пороге
Земли обетованной.

(1945)

* * *

Светлое поле. Вечер был светел.
В поле лежали мертвые дети.
Ветер метался, сердца бездомней.
Ветер улегся, ветер не помнит.
Камни забыли, как их дробили,
Камни не знают, кто здесь в могиле.
Нет, не бессмертье, не мрамор, не камень,
Дай мне другое — горькую память,
Чтоб, умирая, снова увидеть
Светлое поле в черной обиде!

1945

СТАТУЯ АФРОДИТЫ

Он много знал, во имя бога
Он суетных богов ломал,
И все же он душою дрогнул,
Когда тот мрамор увидал.
Не знаю, девкой деревенской
Иль домыслом она была
И чья догадка совершенство
Из глыбы камня родила,
Но плакал, как дитя, апостол,
Что слишком поздно увидал,
Зачем он был на землю послан
И по какой земле ступал.
Давно тот след на камне стерся,
И падал снег, и таял снег.
Но вижу я — к тому же торсу
В тоске подходит человек,
И та же красота земная
Вдруг открывается ему,
И смутно слезы он роняет,
Не понимая почему.

1945

* * *

Была трава, как раб, распластана,
Сияла кроткая роса,
И кровлю променяла ласточка,
На ласковые небеса,
И только ты, большое дерево,
Осталось на своем посту —
Солдат, которому доверили
Прикрыть собою высоту.
И были ветки в муке скрещены,

Когда огонь тебя подсек,
И умирало ты торжественно,
Как умирает человек.

1945

* * *

Когда я был молод, была уж война,
Я жизнь свою прожил — и снова война.
Я все же запомнил из жизни той громкой
Не музыку марша, не грозы, не бомбы,
А где-то в рыбацком селенье глухом
К скале прилепившийся маленький дом.
В том доме матрос расставался с хозяйкой,
И грустные руки метались, как чайки,
И годы, и годы мерещатся мне
Все те же две тени на белой стене.

1945

* * *

Я смутно жил и неуверенно,
И говорил я о другом,
Но помню я большое дерево,
Чернильное на голубом,
И помню милую мне женщину,—
Не знаю, мало ль было сил,
Но суеверно и застенчиво
Я руку взял и отпустил.
И все давным-давно потеряно,
И даже нет следа обид,
И только где-то то же дерево
Еще по-прежнему стоит.

1945

* * *

Ты говоришь, что я замолк,
И с ревностью, и с укоризной.
Париж не лес, и я не волк,
Но жизнь не вычеркнешь из жизни.
А жил я там, где, сер и сед,
Подобен каменному бору,
И голубой и в пепле лет,
Стоит, шумит великий город.
Там даже счастье нипочем,
От слова там легко и больно,
И там с шарманкой под окном
И плачет и смеется вольность.
Прости, что жил я в том лесу,
Что все я пережил и выжил,
Что до могилы донесу
Большие сумерки Парижа.

1945

* * *

Чужое горе — оно как овод:
Ты отмахнешься, и сядет снова,
Захочешь выйти, а выйти поздно,
Оно — горячий и мокрый воздух,
И, как ни дышишь, все так же душно,
Оно не слышит, оно — кликуша,
Оно приходит и ночью ноет,
А что с ним делать — оно чужое.

1945

* * *

Мне было многое знакомо
И стало сердцу дорогим,
Но не было на свете дома,
Который бы назвал своим.
И только в час глухой и злобный,
Когда горела вся земля,
Я дверь одну ревниво обнял,
Как будто эта дверь — моя.
И дым глаза мне ночью выел,
Но я не опустил руки,
Чтоб дети, не мои — чужие,
Играли утром у реки.

1945

* * *

Будет солнце в тот день, или дождь, или снег,—
Тишина удивит, к ней придет человек.
Тишиной начинается все, как во сне,
Человек возвращается вновь к тишине.
О, победы последний салют! Не слова,
Нам расскажут о счастье вода и трава.
Не орудья отметят сражений конец,
А биение крохотных птичьих сердец.
Мы услышим, как тихо летит мотылек,
Если ветер улегся и вечер далек.

1945

В ФЕВРАЛЕ 1945

1

День придет, и славок громкий хор
Хорошо прославит птичий вздор,
И, смеясь, наденет стрекоза
Выходные яркие глаза.
Будут снова небеса для птиц,
А Медынь для звонких медунниц,
Будут только те затемнены,
У кого луна и без луны,
Будут руки, чтобы обнимать,
Будут губы, чтобы целовать,
Даже ветер, почитав стихи,
Заночует у своей ольхи.

2

Мне снился мир, и я не мог понять,—
Он и во сне казался мне ошибкой:
Был серый день, и на ребенка мать
Глядела с неуверенной улыбкой,
А дождь не знал, идти ему или нет,
Выглядывало солнце на минуту,
И ветки плакали — за много лет,
И было в этом счастье столько смуты,
Что всех пугал и скрип, и смех, и шаг,
Застывшие не улетали птицы,
Притихло все. А сердце билось так,
Что и во сне могло остановиться.

1945

За что он погиб! Он тебе не ответит.
А если услышишь, подумаешь — ветер.
За то, что здесь ярче густая трава,
За то, что ты плачешь и, значит, жива,
За то, что есть дерева грустного шелест,
За то, что есть смутная русская прелесть,
За то, что четыре угла у земли,
И сколько ни шли бы, куда бы ни шли,
Есть, может быть, звонче, нарядней, богаче,
Но нет вот такой, над которой ты плачешь.

1945

ЛЕНИНГРАД

Есть в Ленинграде, кроме неба и Невы,
Простора площадей, разросшейся листвы,
И кроме статуй, и мостов, и снов державы,
И кроме незакрывшейся, как рана, славы,
Которая проходит ночью по проспектам,
Почти незримая, из серебра и пепла,—
Есть в Ленинграде жесткие глаза и та,
Для пришлого загадочная, немота,
Тот горько сжатый рот, те обручи на сердце,
Что, может быть, одни спасли его от смерти.
И если ты — гранит, учись у глаз горячих:
Они сухи, сухи, когда и камни плачут.

1945

* * *

Когда она пришла в наш город,
Мы растерялись. Столько ждать,
Ловить душою каждый шорох
И этих залпов не узнать.
И было столько муки прежней,
Ночей и дней такой клубок,
Что даже крохотный подснежник
В то утро расцвести не смог.
И только — видел я — ребенок
В ладоши хлопал и кричал,
Как будто он, невинный, понял,
Какую гостью увидал.

1945

9 МАЯ 1945

1

О них когда-то горевал поэт:
Они друг друга долго ожидали,
А встретившись, друг друга не узнали
На небесах, где горя больше нет.
Но не в раю, на том земном просторе,
Где шаг ступи — и горе, горе, горе,
Я ждал ее, как можно ждать любя,
Я знал ее, как можно знать себя,
Я звал ее в крови, в грязи, в печали.
И час настал — закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она.
И мы друг друга не узнали.

2

Она была в линялой гимнастерке,
 И ноги были до крови натерты.
 Она пришла и постучалась в дом.
 Открыла мать. Был стол накрыт к обеду.
 «Твой сын служил со мной в полку одном,
 И я пришла. Меня зовут Победа».
 Был черный хлеб белее белых дней,
 И слезы были соли солоней.
 Все сто столиц кричали вдалеке,
 В ладоши хлопали и танцевали.
 И только в тихом русском городке
 Две женщины, как мертвые, молчали.

3

Прошу не для себя, для тех,
 Кто жил в крови, кто дольше всех
 Не слышал ни любви, ни скрипок,
 Ни роз не видел, ни зеркал,
 Под кем и пол в сенях не скрипнул,
 Кого и сон не окликал,—
 Прошу для тех — и цвет, и щебет,
 Чтоб было звонко и пестро,
 Чтоб, умирая, день, как лебедь,
 Ронял из горла серебро,—
 Прошу до слез, до безрассудства,
 Дойдя, войдя и перейдя,
 Немного смутного искусства
 За легким пологом дождя.

1945

* * *

Умру — вы вспомните газеты шорох,
Ужасный год, который всем нам дорог.
А я хочу, чтоб голос мой замолкший
Напомнил вам не только гром у Волги,
Но и деревьев еле слышный шелест,
Зеленую таинственную прелесть.
Я с ними жил, я слышал их рассказы,
Каштаны милые, оливы, вяза —
То не ландшафт, не фон и не убранство;
Есть в дереве судьба и постоянство,
Уйду — они останутся на страже,
Я начал говорить — они доскажут.

1945

* * *

О, дайте вечность мне,— и вечность я
отдам
За равнодушие к обидам и годам.
И. Анненский

В печальном парке, где дрожит зола,
Она стоит, по-прежнему бела.
Ее богиней мира называли,
Она стоит на прежнем пьедестале.
Ее обидели давным-давно.
Она из мрамора, ей все равно.
Ее не тронет этот день распятый,
А я стою, как он стоял когда-то.
Нет вечности, и мира тоже нет,
И не на что менять остаток скверных лет.
Есть только мрамор и остывший пепел.
Прикрой его, листва: он слишком светел.

1945

«Во Францию два гренадера...»
Я их, если встречу, верну.
Зачем только черт меня дернул
Влюбиться в чужую страну!
Уж нет гренадеров в помине,
И песни другие в ходу,
И я не француз на чужбине,—
От этой земли не уйду,
Мне все здесь знакомо до дрожи,
Я к каждой тропинке привык,
И всех языков мне дороже
С младенчества внятный язык.
Но вдруг замолкают все споры,
И я — это только в бреду,—
Как два усача гренадера,
На запад далекий бреду,
И все, что знавал я когда-то,
Встает, будто было вчера,
И красное солнце заката
Не хочет уйти до утра.

1947

ФРАНЦИЯ

1

Дорога вьется, тянет, тянется.
Заборы, люди, города.
И вдруг одно: а где же Франция?
Запраталась она куда!
Бретань, и море в злобе щерится,
И скалы рвет огромный вал.
Разлука ли? Мне все не верится,

Что эти руки целовал.
Не улыбнешься, не расплачешься,
А вспомнишь — закричишь со сна.
Парижа позднее ребячество,
Его туманная весна —
В цветах, в огнях, в соленой сырости...
Я не спрошу, что стало с ним.
Другие девушки там выросли
И улыбаются другим.
Так сделан человек: расстанется,
Все заметет тяжелый снег.
И я как все. А где же Франция?
Я выдумал ее во сне.
Но ты не говори о верности,
Я верен, только не себе —
Тому, что бьется, вьется, вертится —
Своей тоске, своей судьбе.

2

Читаешь, пишешь, говоришь,
И вдруг встает былой Париж,
Огромный, огненный, живой,
С горячей мокрой синевой.
Как он сумел прийти сюда!
Ходить — не ходят города,
Им тяжело, у них дома.
И кто из нас сошел с ума!
Тот город, что, забыв про честь,
Готов в любое сердце влезть,
Готов смутить любой покой
Своей шарманочной тоской,—
Сошел ли город тот с ума,
Сошли ли с мест своих дома!
Иль, может, я в бреду ночном,
Когда смолкает все кругом,
Сквозь сон, сквозь чащу мутных лет,

Сквозь ночь, которой гуще нет,
Сквозь снег, сквозь смерть, сквозь эту тишь
Бреду туда — все в тот Париж!

1947

* * *

Мне все мерещится одна
Большого полдня тишина,
И те же блики от каштана,
И тот же зной, как мед, густой,
Кувшин, а рядом два стакана,
Один с вином, другой пустой.
Обычно отвечают: «Ба,
Что тут попишешь, не судьба...»
Уж больше ничего не будет,
Теперь и вспоминать смешно,
А все мерещится одно:
Так и ушел и не пригубил...

1947

У РЖЕВА

1

Трагедия закончена — так пишут,
И это правда,— строят города,
Влюбляются и по ночам не слышат,
Как голосит железная беда.
Но вот война — окопы, танк подбитый,
Оборван провод и повисла нить,
Как будто после той ужасной битвы
Здесь занавес забыли опустить.

Торчит стена расщепленного дома,
В глубоких ямах желтая вода.
Как это все мучительно знакомо,
Мне кажется, что я здесь жил всегда.
Обломаны, обрублены деревья,
Черны они, в них битв минувших страсть,
И, руки заломив в последнем гневе,
Они ни жить не могут, ни упасть.

2

Могила солдата, а имени нет,
Мы дату едва разобрали,—
Здесь в сорок втором, не дождавшись побед,
Погиб неизвестный товарищ.
Тогда отступали, и он отступал.
Потом был приказ закрепиться.
В Москве не раздался торжественный залп —
Погиб он в проигранной битве.
Откуда шли танки! Хватило ль гранат!
В газете никто не поведал,
Как в сорок втором неизвестный солдат
Увидел впервые победу.
О том не узнали ни мать, ни жена,
С похода друзья не вернулись.
Он спит одиноко, и только сосна
В почетном стоит карауле.

3

Прохожий, подойди. Лежим в могиле братской.
Нас было четверо, любили мы смеяться,
Цвела тогда сирень, мы были влюблены,
Ходили в школу мы за месяц до войны.
Прохожий, пели мы. Потом запели пули.
Ты знаешь жизнь, в нее мы только заглянули.
Мы жить хотели, но была беда:

Мы отступали и сдавали города.
В то лето было много горя и развалин.
Кукушки коротко в то лето куковали,
Мы в поле залегли, касалась щек трава.
Была пред нами смерть, а позади — Москва.
Есть нечто, вечности оно дороже:
Погибли мы, но ты живешь, прохожий,
Ты смотришь, говоришь, и этот день живой
Стоит, как облако, над розовой Москвой.

1948 (?)

* * *

Я в море вижу не свободу,
А некий исполинский труд,
Как будто яростные воды
Повинность тяжкую несут,
С ожесточеньем терпеливым
Прилив сменяется отливом,
Стихия пробует восстать,
Закону темному покорна,
Шумит, грозит. А после шторма
Все та же тишина и гладь.
Скажи мне, сколько нужно странствий,
Как отвергал, как был отвергнут,
Чтоб говорило море сердцу
О верности, о постоянстве,
Чтоб стало все, чем жил и жив,
Как тот прилив, как тот отлив!

1948 (?)

* * *

У маленькой речушки на закате,
Закинув удочку, сидел мечтатель
И, отдыхая от своих тревог,
Глядел на неподвижный поплавок.
Он смутно думал: «Тонет луг в тумане,
Возможно, завтра и меня не станет,
Но будет снова тот же летний день,
И та же рябь реки, и та же лень».
О вечности он думал смутно, вяло,
А рядом на песочке трепетала
Им пойманная рыбка. Где вода!
Ее не будет больше никогда.
Дышать она пыталась. Слишком поздно:
Не для нее сухой и грозный воздух.
Вздымались жабры. Белый жег песок.
Мечтатель все глядел на поплавок.

1948 (?)

* * *

К вечеру улегся ветер резкий,
Он залег в тенистом перелеске,—
Уверяли галки очень колко,
Что растет там молодая елка.
Он играл с ее колючей хвоей,
Говорил: «На свете есть другое,
А не только эти елки-палки,
А не только глупенькие галки».
Говорил, что он бывал на Тибре,
Танцевал с нарядными колибри,
Обнимал высокую агаву,
Но нашлась и на него управа.
Отвечала молодая елка:

«Я в таких речах не вижу толка,
С вами я почти что незнакома,
Нет у вас ни адреса, ни дома,
Может, по миру гулять просторней,
Но стыдитесь — у меня есть корни,
Я стою здесь с самого начала,
Как моя прабабушка стояла.
Я не мельница. Зачем мне ветер!
У меня, наверно, будут дети.
На мои портреты ротозои
Смотрят в краеведческом музее».
Вздрогнули деревья на рассвете —
Это поднялся внезапно ветер,
И завыла на цепи собака
Оттого, что ветер выл и плакал,
Оттого, что без цепи привольно,
Оттого, что даже ветру больно.

1948 (?)

* * *

Был тихий день обычной осени.
Я мог писать иль не писать:
Никто уж в сердце не запросится,
И тише тишь, и глаже гладь.
Деревья голые и черные —
На то глаза, на то окно,—
Как не моих догадок формулы,
А все разгадано давно.
И вдруг, порывом ветра вспугнуты,
Взлетели мертвые листья,
Давно истоптаны, поруганы,
И все же, как любовь, чисты,
Большие, желтые и рыжие
И даже с зеленью смешной,

Они не дожили, но выжили
И мечутся передо мной.
Но можно ль быть такими чистыми!
А что ни слово — не попад.
Они живут, но не написаны,
Они взлетели, но молчат.

1957

* * *

Ошибся — нужно повторить:
Ребенка учат говорить.
К чему леса! К чему трава!
Пред ним дремучие слова,
И он в руке зажать готов
Добычу дня — охапку слов.
До смерти их не перечеть.
А попугай — тот любит есть,
А водолей — тот воду льет,
А человек среди слов живет.
Кто открывал, и кто крестил,
И кто кого когда любил!
Ведь он не нов, ведь он готов,
Уютный мир заемных слов.
Лишь через много-много лет,
Когда пора давать ответ,
Мы разгребаем груды слов —
Ведь мир другой, он не таков.
Слова швыряем мы в окно
И с ними славу заодно.
Как ни хвали, как ни пугай,—
Молчит облезший попугай,—
Слова ушли, как сор, как дым,
Он хочет умереть немым.

1957

* * *

Есть надоедливая вдоволь повесть,
Как плачет человеческая совесть.
Она особенно скулит средь ночи,
Когда никто с ней говорить не хочет,
Когда подсчитаны давно балансы
И оттанцованы и сны и танцы,
Когда глаза, в которых жизнь поблекла,
Похожи на замызганные стекла
Большого недостроенного дома,
Где все необжито и все знакомо.
Она скулит, что день напрасно прожит
И что никто не лезет вон из кожи,
Что убивают лихо изуверы
И что вздыхают тихо малOVERы.
Она скулит, никто ее не слышит —
Ни ангелы, ни близкие, ни мыши.
Да что тут слушать! Плачет, и не жалко.
Да что тут слушать! Есть своя смекалка.
Да что тут слушать! Это ведь не дело.
И это всем смертельно надоело.

1957

Нагасаки

* * *

Ты помнишь, жаловался Тютчев:
«Мысль изреченная есть ложь».
Ты не пытался думать — лучше
Чужая мысль, чужая ложь.
Да и к чему осьмушки мысли!
От соски ты отвык едва,
Как сразу над тобой нависли
Семипудовые слова.

И было в жизни много шума,
Пальбы, проклятий, фарсов, фраз.
Ты так и не успел подумать,
Что набежит короткий час,
Когда не закричишь дискантом,
Не убежишь, не проведешь,
Когда нельзя играть в молчанку,
А мысли нет, есть только ложь.

1957

* * *

В их мире замкнутом и спертном
И логика была простой,
Она была того же сорта,
Что окрик часового: «Стой!»

«Стой!» — и построй себе жилище,
«Стой!» — и свивай себе уют,
«Стой!» — и работай ради пищи,
Живи, как прочие живут.

Да кто вы! Люди или птицы!
Сыны богов или кроты!
«Мы! Жители. Жильцы, жилицы,
Квартиросъемщики. А ты,

А ты, что вечно споришь с веком!»
— «Я был собою до конца:
Неполноценным человеком,
Пытавшимся поджечь сердца».

«Ну как, поджег! — И все смеются,
Все полноценны и тихи.—
Прошла эпоха революций.
А сколько платят за стихи!»

1957

* * *

Я смутно помню шумный перекресток,
Как змей клубок, петлистые пути.
Я выбрал свой, и все казалось просто:
Коль цель видна, не сбиться и дойти.
Одна судьба — не две — у человека,
И как дорогу ту ни назови,
Я верен тем, с которыми полвека
Шагал я по грязи и по крови.
Один косился на другого, мучил
Молчанием, томила сердце тень,
Что рядом шла,— не друг и не попутчик,
А только тень.

Ни зелень дерезень,
Ни птицы крик нам не несли отрады.
Страшнее переходов был привал.
Порой один, чуть покачнувшись, падал,
Все дальше шли, он молча умирал.
Но, кажется, и в час предсмертной стужи,
Когда пойму — мне больше не идти,
Нахлынут нежность, гордость, грусть и ужас
При памяти о пройденном пути.

1957

* * *

Есть в севере чрезмерность, человеку
Она невыносима, но сродни —
И торопливость летнего рассвета,
И декабря огрызки, а не дни,
И сада вид, когда приходит осень:
Едва цветы успели расцвести,
Их заморозки скручивают, косят,
А ветер ухмыляется, свистит,

И только в пестроте листвы кричащей,
Календарю и кумушкам назло,
Горит последнее большое счастье,
Что сдуру, курам на смех, расцвело.

1957

ДОЖДЬ В НАГАСАКИ

Дождь в Нагасаки бродит, разбужен, рассержен.
Куклу слепую девочка в ужасе держит.
Дождь этот лишний, деревья ему не рады,
Вишня в цвету, цветы уже начали падать.
Дождь этот с пеплом, в нем тихой смерти заправка,
Кукла ослепла, ослепнет девочка завтра,
Будет отравой доска для детского гроба,
Будет приправой тоска и долгая злоба,
Злоба — как дождь, нельзя от нее укрыться,
Рыбы сходят с ума, наземь падают птицы,
Голуби скоро начнут, как вороны, каркать,
Будут кусаться и выть молчальники карпы,
Будут вгрызаться в людей цветы полевые,
Воздух вопьется в грудь, сердце высосет, выест.
Злобу не в силах терпеть, как дождь, Нагасаки.
Мы не дадим умереть тебе, Нагасаки!
Дети в далеких, в зеленых и тихих скверах,—
Здесь не о вере, не с верой, не против веры,
Здесь о другом — о простой человеческой жизни.
Дождь перейдет, на вишни он больше не брызнет.

1957

ТОВАРИЩАМ

В любой труппе, где и камню больно,
В Калькутте душной, среди ветров Стокгольма,
В японском домике, пустом до страха,
Глухой в Нью-Йорке и на ощупь в шахте,
У Миссисипи, где и снам не выжить,
В заласканном, заплаканном Париже,
И в брюхе птицы, прорезавшей небо,—
Все сорок лет — когда бы, с кем бы, где бы —
Я вижу их, я узнаю их сразу,
Не по затверженным знакомым фразам,—
По множеству примет, едва заметных,
По хмурости и по усмешке светлой,
По мужеству, по гордости, по горю,
Которых не унять, не переспорить,
И по тому, как промолчат о главном,
Как через силу выговорят «ладно»,
Как не расскажут про беду и смуту
И как доверчиво пожмут мне руку.
Я с ними в сговоре — мы вместе жили,
В одно мы верили, одно любили,
И пуд мы съели — не по нашей воле —
Такой соленой, что не скажешь, соли.
Суровый, деловой и все же нежный
Огромный заговор одной надежды.

1957

СПУТНИК

Есть нечто милое в самом том слове
С далеких, незапамятных времен,
Хоть многим кажется, что это — внове,
Хоть ошарашен мир и открылен.
Не знаю, догадаются, поймут ли,

Увидев искру в голубой дали,
Какой невидимый и близкий спутник
Уж сорок лет кружит вокруг Земли.
В глухую осень из российской пущи,
Средь холода и грусти волостей,
Он был в пустые небеса запущен
Надеждой исстрадавшихся людей.
Ему орбиты были незнакомы,
Он оживал в часы сухой тоски,
О нем не говорили астрономы,
За ним следили только бедняки.
Что испытал он, в спехе пролетая,
Запущен рано, нестерпимо нов,
Над горем стародавнего Китая,
Над голодом бразильских пастухов!
Его боялись на допросе выдать,
Он был судим, и был он осужден.
Я помню, пролетал он над Мадридом,
И люди улыбались: это — он!
Он осветил последние минуты
Заложников, он мчался вкруг Земли,
Его видали тени Равенсбрука,
Индийцы разговоры с ним вели.
Он вспыхивал и пропадал надолго,
Никто его путей не объявлял,
Но в смертный час над потрясенной Волгой
Он будущее мира отстоял.
Его не признавали: «Это — опыт»,
В сердцах твердили: «Это — русских дурь»,
Пока не увидали в телескопы
Его кружение средь звездных бурь.
Не знаю, догадаются, поймут ли...
Он сорок лет бушует надо мной,
Моих надежд, моей тревоги спутник,
Немыслимый, далекий и родной.

1957

Был пятый час среди январских сумерек.
На улице большой и незнакомой
Она бумажку вынула из сумочки,—
Быть может, позабыла номер дома,
А может быть, работой озабочена,
Проверила все цифры на расписке,
А может, просто улыбнулась почерку
Измятой зацелованной записки.
Где друг ее, в какой далекой области!
Иль, может быть, спешила на свиданье!
Но губы дрогнули, и, будто облако,
Взлетело к небу легкое дыханье.
Когда мы говорим на громких сборищах
Про ненависть, про бомбы и про стронций,
Когда слова, в которых столько горечи,
Горячим пеплом заслоняют солнце,
Я вспоминаю улицу морозную
И облако у каменного зданья,
Огромный мир с бесчисленными звездами
И крохотное, слабое дыханье.

1958

ВЕРНОСТЬ

Жизнь широка и пестра,
Вера — очки и шоры.
Вера двигает горы,
Я — человек, не гора.
Вера мне не сестра.
Видел я камень серый,
Стертый трепетом губ,
Мертвого будит вера,
Я — человек, не труп.

Видел, как люди слепли,
Видел, как жили в пекле,
Видел — билась земля,
Видел я небо в пепле,—
Вере не верю я.
Скверно! Скажи, что скверно.
Верно! Скажи, что верно.
Не похвальбе, не мольбе,
Верю тебе лишь, Верность,
Веку, людям, судьбе.
Если терпеть, без сказки,
Спросят — прямо ответь,
Если к столбу, без повязки,—
Верность умеет смотреть.

1958

САМЫЙ ВЕРНЫЙ

Я не знал, что дважды два — четыре,
И учитель двойку мне поставил.
А потом я оказался в мире
Всевозможных непреложных правил.
Правила менялись, только бойко,
С той же снисходительной улыбкой,
Неизменно ставили мне двойку
За допущенную вновь ошибку.
Не был я учеником примерным
И не стал с годами безупречным,
Из апостолов Фома Неверный
Кажется мне самым человечным.
Услыдав, он не поверил просто —
Мало ли рассказывают басен!
И, наверно, не один апостол
Говорил, что он весьма опасен.
Может, был Фома тяжелодумом,

Но, подумав, он за дело брался,
Говорил он только то, что думал,
И от слов своих не отступался.
Жизнь он мерил собственной меркой,
Были у него свои скрижали.
Уж не потому ль, что он «неверный»,
Он молчал, когда его пытали!

1958

* * *

Да разве могут дети юга,
Где розы плещут в декабре,
Где не разыщешь слова «вьюга»
Ни в памяти, ни в словаре,
Да разве там, где небо сине
И не слиняет ни на час,
Где испокон веков поныне
Все то же лето тешит глаз,
Да разве им хоть так, хоть вкратце,
Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне,
Что значит в мартовские стужи,
Когда отчаянье берет,
Все ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.
А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
Но только гордость и беда.
И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены,
Мы видели, уже не видя,
Глаза зеленые весны.

1958

Вчера казалась высохшей река,
В ней женщины лениво полоскали
Белье. Вода не двигалась. И облака,
Как простыни распластаны, лежали
На самой глади. Посреди реки
Дремали одуревшие коровы.
Баржа спала. Рыжели островки,
Как поплавки лентяя рыбакова.
Вдруг началось. Сошла ль река с ума!
Прошла ль гроза? Иль ей гроза приснилась!
Но рвется прочь. Земля, поля, вода —
Все отдано теперь воде на милость.
Бывает, жизнь мельчает. О судьбе
Не говори — ты в выборе свободен:
И если есть судьба, она в тебе —
И эти отмели и полноводье.

1958

В ГРЕЦИИ

Не помню я про ход резца —
Какой руки, какого века,—
Мне не забыть того лица,
Любви и муки человека.
А кто он? Возмущенный раб?
Иль неуступчивый философ,
Которого травил сатрап
За прямоту его вопросов?
А может, он бесславно жил,
Но мастер не глядел, не слушал
И в глыбу мрамора вложил
Свою бушующую душу!
Наверно, мастеру тому

За мастерство, за святотатство
Пришлось узнать тюрьму, суму
И у царей в ногах валяться.
Забыты тяжбы горожан
И войны громкие династий,
И слов возвышенных туман,
И дел палаческие страсти.
Никто не свистнет, не вздохнет —
Отыграна пустая драма,—
И только все еще живет
Обломок жизни, светлый мрамор.

1958

В ЗООПАРКЕ ЛОНДОНА

До слез доверчива собака,
Нетороплива черепаха,
Близка к искусству обезьяна,
Большие чувства у барана,
Но говорят, что только люди —
И дело здесь не в глупом чуде,
А дело здесь в природе высшей,
А дело здесь в особой мышце,—
И ни скворец в своей скворешне,
И никакой не пересмешник,
Ни попугай и ни лисица
Не могут этого добиться.
Но только люди — это с детства,—
Едва успеют осмотреться,
Им даже нечего стараться —
Они умеют улыбаться.
Я много жил и видел многих,
И тех, что открывают звезды,
И тех, что разоряют гнезда.
Есть у людей носы и ноги

Для любопытства, для тревоги,
Есть настороженные уши
Для тишины, для малодушья,
Есть голова для всякой прыти,
Кровопролитий и открытий,
Чтоб расщепить, как щепку, атом,
Чтоб за Луну был всяк просватан,
Чтоб был Сатурн в минуту добыт,
Чтоб рифмовал и плакал робот.
Умеют люди зазнаваться,
Но разучились улыбаться.
И только в вечер очень жаркий
В большом и душном зоопарке,
Где, не мечтая о победе,
Лизали кандалы медведи,
Где были всяческие люди —
И дети королевских судей,
И маклеры, а с ними жены,
И малолетние Ньютоны,
Где люди громко гоготали,
А звери выли от печали,
Где даже тигр пытался мямлить,
Как будто он не тигр, а Гамлет,—
Да, только там, у тесных клеток,
Средь мудрецов и малолеток,
Я видел, как один слоненок,
Быть может, сдуру иль спросонок,
Взглянув на дамские убранства,
На грустное, пустое чванство,
Наивен будучи и робок,
Слегка приподнял тонкий хобот
И, словно от природы высшей
И словно одарен он мышцей,
К слонихе быстро повернулся,
Не выдержал и улыбнулся.

1958

* * *

Про первую любовь писали много,—
Кому не лестно походить на бога,
Создать свой мир, открыть в привычной глине
Черты еще не найденной богини?
Но цену глине знает только мастер —
В вечерний час, в осеннее ненастье,
Когда все прожито и все известно,
Когда сверчку его знакомо место,
Когда цветов повторное цветенье
Рождает суеверное волнение,
Когда уж дело не в стихе, не в слове,
Когда все позади, а счастье внове.

1958

* * *

Мы говорим, когда нам плохо,
Что, видно, такова эпоха,
Но говорим словами теми,
Что нам продиктовало время.
И мы привязаны навеки
К его взыскательной опеке,
К тому, что есть большие планы,
К тому, что есть большие раны,
Что изменяем мы природу,
Что умираем в непогоду
И что привыкли наши ноги
К воздушной и земной тревоге,
Что мы считаем дни вприкидку,
Что сшиты на живую нитку,
Что никакая в мире нежить
Той тонкой нитки не разрежет.
В удаче ль дело, в неудаче,

Но мы не можем жить иначе,
Не променяем — мы упрямы —
Ни этих лет, ни этой драмы,
Не променяем нашей доли,
Не променяем нашей роли,—
Играй ты молча иль речисто,
Играй героя иль статиста,
Но ты ответишь перед всеми
Не только за себя — за Время.

1958

* * *

Я слышу все — и горестные шепоты,
И деловитый перечень обид.
Но длится бой, и часовой, как вкопанный,
До позднего рассвета простоит.
Быть может, и его сомненья мучают,
Хоть ночь длинна, обид не перечесть,
Но знает он — ему хранить поручено
И жизнь товарищей, и собственную честь.
Судьбы нет горше, чем судьба отступника,
Как будто он и не жил никогда,
Подобно коже прокаженных, струпиями
С него сползают лучшие года.
Ему и зверь и птица не доверятся,
Он будет жить, но будет неживой,
Луна уйдет, и отвернется дерево,
Что у двери стоит, как часовой.

1958

НАД РУКОПИСЬЮ

Если слово в строке перечеркнуто,
А поверх уж другое топорщится,
Значит, эти слова — заменители,
Невесомы они, приблизительны,
Значит, каждое слово уж выпалось,
Значит, это — слова, а не исповедь,
Значит, все раздобыто, не добыто,
Продиктовано роботом роботу.

1964

КОРОВЫ В КАЛЬКУТТЕ

Как давно сказано,
Не все коровы одним миром мазаны:
Есть дельные и стельные,
Есть комолые и бодливые,
Веселые и ленивые,
Печальные и серьезные,
Индивидуальные и колхозные,
Дойные и убойные,
Одни в тепле, другие на стуже,
Одним лучше, другим хуже.
Но хуже всего калькуттским коровам:
Они бродят по улицам,
Мычат, сугуляются,
Нет у них крова,
Свободные и пленные,
Голодные и почтенные,
Никто не скажет им злого слова —
Они священные.

Есть такие писатели —
Пишут старательно,

Лаврами их украсили,
Произвели в классики,
Их не ругают, их не читают,
Их почитают.
Было в моей жизни много дурного,
Частенько били — за перегибы,
За недогибы, изгибы,
Говорили, что меня нет — «выбыл»,
Но никогда я не был священной коровой,
И на том спасибо.

1964

* * *

Морили прежде в розницу,
Но развивались знания.
Мы, может, очень поздние,
А может, слишком ранние.

Сидел писец в Освенциме,
Считал не хуже работа —
От матерей с младенцами
Волос на сколько добыто.

Уж сожжены все родичи,
Канаты все проверены,
И вдруг пустая лодочка
Оторвалась от берега,
Без виз, да и без физики,
Пренебрегая воздухом,
Она к тому приблизилась,
Что называла звездами.

Когда была искомая
И был искомый около,

Когда еще весома
Ему дарила локоны.
Одна звезда мне нравится.
Давно такое видано,
Она и не красавица,
Но очень безобидная.

Там не снует история,
Там мысль еще не роздана,
И видят инфузории
То, что зовем мы звездами.

Лети, моя любимая!
Так вот оно, бессмертие,—
Не высчитать, не вымолвить,
Само собою вертится.

1964

В РИМСКОМ МУЗЕЕ

В музеях Рима много статуй,
Нерон, Тиберий, Клавдий, Тит,
Любой разбойный император
Классический имеет вид.
Любой из них, твердя о правде,
Был жаждой крови обуян,
Выкуривал британцев Клавдий,
Армению терзал Траян.
Не помня давнего разгула,
На мрамор римляне глядят
И только тощим Калигулой
Пугают маленьких ребят.
Лихой кавалерист пред Римом
И перед миром виноват:
Как он посмел конем любимым
Пополнить барственный сенат!

Оклеветали Калигулу:
Когда он свой декрет изрек,
Лошадка даже не лягнула
Своих испуганных коллег.
Простят тому, кто мягко стелет,
На розги розы класть готов,
Но никогда не стерпит челядь,
Чтоб высекли без громких слов.

(1965)

* * *

Когда зима, берясь за дело,
Земли увечья, рвань и гной
Вдруг прикрывает очень белой
Непогрешимой пеленой,
Мы радуемся, как обновке,
Нам, простофилям, невдомек,
Что это старые уловки,
Что снег на боковую лег,
Что спишут первые метели
Не только упраздненный лист,
Но все, чем жили мы в апреле,
Чему восторженно клялись.
Хитро придумано, признаться,
Чтоб хорошо сучилась нить,
Поспешной сменой декораций
Глаза от мыслей отучить.

(1965)

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Календарей для сердца нет,
Все отдано судьбе на милость.
Так с Тютчевым на склоне лет
То необычное случилось,
О чем писал он наугад,
Когда был влюбчив, легкомыслен,
Когда, исправный дипломат,
Был к хаоса жрецам причислен.
Он знал и молодым, что страсть
Не треск, не звезды фейерверка,
А молчаливая напасть,
Что жаждет сердце исковеркать.
Но лишь поздней, устав искать,
На хаос наглядевшись вдосталь,
Узнал, что значит умирать
Не поэтически, а просто.
Его последняя любовь
Была единственной, быть может.
Уже скудела в жилах кровь
И день положенный был прожит.
Впервые он узнал разор,
И нежность оказалась внове...
И самый важный разговор
Вдруг оборвался на полслове.

(1965)

В КОПЕНГАГЕНЕ

Кому хулить, а прочим наслаждаться —
Удой возрос, любое поле тучно,
Хоть каждый знает — в королевстве Датском
По-прежнему не все благополучно.
То приписать кому! Земле!

Векам ли!

Иль, может, в Дании порядки плохи!
А королевство ни при чем, и Гамлет
Страдает от себя, не от эпохи.

(1965)

СОНЕТ

Давно то было. Смутно помню лето,
Каналов высохших бродивший сок
И бархата спадающий кусок —
Разодранное мясо, Тинторетто.
С кого спадал? Не помню я сюжета.
Багров и ржав, как сгусток всех тревог
И всех страстей, валялся он у ног.
Я все забыл, но не забуду это.
Искусство тем и живо на века —
Одно пятно, стихов одна строка
Меняют жизнь, настраивают душу.
Они ничтожны — в этот век ракет —
И непреложны — ими светел свет.
Все нарушал, искусства не нарушу.

(1965)

СТАРОСТЬ

1

Все призрачно, и свет ее неярк.
Идти мне некуда. Молчит беда,
Чужих небес нечаянный подарок,
Любовь моя, вечерняя звезда!
Бесцельная и увести не может.
Я знаю все, я ничего не жду.

Но долгий день был не напрасно прожит —
Я разглядел вечернюю звезду.

1964

2

Молодому кажется, что к старости
Расступаются густые заросли,
Все измерено, давно погашено,
Не пойти ни вброд, ни врукопашную,
Любит поворчать, и тем не менее
Он дошел до точки примирения.

Все не так. В моем проклятом возрасте
Карты розданы, но нет уж козыря,
Страсть грызет и требует по-прежнему,
Подгоняет сердце, будто не жил я,
И хотя уже готовы вынести,
Хватит на двоих непримиримости,
Бьешься, и не только с истуканами —
Сам с собой.
Еще удар — под занавес.

1964

3

...И уж не золотом по черни,
А пальцем слабым на песке,
Короче, суше, суеверней
Он пишет о своей тоске.
Душистый разворочен ворох,
Теперь не годы, только дни,
И каждый пуще прежних дорог:
Перешагни, перегони,
Перелети, хоть ты объедок,

**Лоскут, который съела моль,—
Не жизнь прожить, а напоследок
Додумать, доглядеть позволь.**

(1967)

4

**Устала и рука. Я перешел то поле.
Есть му́ка и мука́, но я писал о соли.
Соль истребляли все. Ракеты рвутся в небо.
Идут по полосе и думают о хлебе.
Вот он, клубок судеб. И тишина средь песен.
Даст бог, родится хлеб. Но до чего он пресен!**

(1967)

5

**Позабыть на одну минуту,
Может быть, написать кому-то,
Может, что-то убрать, передвинуть,
Посмотреть на полет снежинок,
Погадать — додержусь, дотяну ли,
Почитать о лихом Калигу́ле.
Были силы, но как-то не вышло,
А теперь уже скоро крышка.
Не додумать, быть очень твердым,
Просидеть над дурацким кроссвордом,—
Что от правды и что от кривды,
Не помогут ни мысли, ни рифмы.
Это дальше теперь или ближе!
Нужно выбраться, вытянуть, выжить.
Время мешкает, топчется глухо,
Не взлетает, как поздняя муха.
Есть черед, а хотелось бы через.
Нужно жить, а уж нет суеверий,**

Если держит еще — не надежда,
А густая и цепкая нежность,
Что из сердца не уберется,
Если сердце все еще бьется.

(1967)

6

Пора признать — хоть вой, хоть плачь я,
Но прожил жизнь я по-собачьи,
Не то что плохо, а иначе —
Не так, как люди или куклы,
Иль Человек с заглавной буквы.
Таскал не доски, только в доску
Свою дурацкую поноску,
Не за награды — за побои
Стерег закрытые покои,
Когда луна бывала злая,
Я подвывал и даже лаял
Не потому, что был я верен —
Не конуре, да и не палке,
Не драчунам в горячей свалке,
Не дракам, не красивым вракам,
Не злым сторожевым собакам,
А только плачу в темном доме
И теплой, как беда, соломе.

(1967)

7

Из-за деревьев и леса не видно.
Осенью видишь, и вот что обидно:
Как было многое видно, но мнимо,
Сколько бродил я случайно и мимо,

Видеть не видел того, что случилось,
Не догадался, какая есть милость —
В голый, пустой, развороченный вечер
Радость простой человеческой встречи.

1964

8

Не время года эта осень,
А время жизни. Голизна,
Навязанный покой несносен:
Примерка призрачного сна.
Хоть присказки, заботы те же,
Они порой не по плечу.
Все меньше слов, и встречи реже.
И вдруг себе я бормочу
Про осень, про тоску. О боже,
Дойти бы, да не хватит сил.
Я столько жил, а все не дожил,
Не доглядел, не долюбил.

1964

9

Свет погас.
Говорят, через час
Свет дадут
или нет.
Слишком много мне лет,
Чтобы ждать и гадать —
Будет шторм или гладь.
Далеко далека
Та живая рука.
А включают или нет,
Будут врать или драть,—

Больше нет тех монет,
Чтоб в орлянку играть.

(1967)

10

Мое уходит поколение,
А те, кто выжил,— что тут ныть,—
Уж не людьми, а просто временем,
Лежалые, уценены.
Исхода нет, есть только выходы.
Одни, хоть им уйти пора,
Куда придется понатыканы,
Пришамкивают «чур-чура».
Не к спеху им, а коль заведено,
И старость чем не хороша,
По дворику ступают медленно
И умирают не спеша.
Хоть мне осточертели горести
И хоть такими пруд пруди,
Я с теми, кто дурацки борется,
Прет на рожон, да впереди,
Кто не забыл, как свищет молодость,
Кто жизнь продрог, а не продрых,
И хоть хлебал, да все несолоно,
Кто так не вышел из игры.

(1967)

* * *

Пять лет описывал не пестрядь быта,
Не короля, что неизменно гол,
Не слезы у разбитого корыта,
Не ловкачей, что забивают гол.

Нет, вспоминая прошлое, хотел постичь я
Ходы еще не конченной игры.
Хоть Янус и двулик, в нем нет двуличья,
Он видит в гору путь и путь с горы.
Меня корили: я не знаю правил,
Болтлив, труслив — про многое молчу...

Костра я не разжег, а лишь поставил
У гроба лет грошовую свечу.
На кладбище друзей, на свалке века
Я понял: пусть принижен и поник,
Он все ж оправдывает человека,
Истоптанный, но мыслящий тростник.

(1967)

НАД СТИХАМИ ВИЙОНА

«От жажды умираю над ручьем».
Водоснабженцы чертыхались:
«Поклеп! Тут воды ни при чем!
Докажем — сделаем анализ».
Вердикт геологов, врачей:
«Вода есть окись водорода,
И не опасен для народа
Сей оклеветанный ручей».
А человек, пустивший слухи,
Не умер вовсе над ручьем,—
Для пресечения разрухи
Он был в темницу заточен:
Поэт, ты лучше спичкой чиркай
Иль бабу снежную лепи,
Не то придет судья с пробиркой,
И ты завоешь на цепи.
Хотя — и это знает каждый —

Не каждого и не всегда
Освободит от вещей жажды
Наичистой воды.

(1967)

НАДЕЖДА

Любой сутяга или скарעד,
Что научился тарабарить,
Попы, ораторы, шаманы,
Пророки, доки, шарлатаны,
Наимоднейшие поэты,
Будь разодеды иль раздеды,
Предатели и преподобья —
Всучают тухлые снадобья.
И надувают все лекарства,
Оказывалось хлевом царство,
[От неудачника, как шура,]
Бежит нежнейшая Лаура,
И смертнику за час до смерти
Приятель говорит «поверьте»,
Когда он все помои вылил,
Когда веревку он намылил.
Но есть одна — она не кинет,
Каким бы жалким ни был финиш,
Она растерянных и наглых,
Без посторонних, с глазу на глаз,
Готова не судить, не вешать —
Всему наперекор утешить.
О чем печалилась Пандора!
Не стало славы и позора,
Убрались ангелы и черти,
Никто не говорит «поверьте»,
Но где-то в темном закоулке,

На самом дне пустой шкатулки,
Хоть все доказано, хоть режь ты,
Чуть трепыхает тень надежды.

(1967)

В КОСТЕЛЕ

Не говори о маловерах,
Но те, что в сушь, в обрез, в огрыз
Не жили — прятались в пещерах,
В грязи, в крови, средь склизких крыс,
Задрипанные львы их драли,
Лупили все, кому не лень,
И на худом пайке печали
Они шептали всякий день,
Пусты, обобранные, раздеты,
Пытаясь провести конвой,
Что к ним придет из Назарета
Хоть и распятый, но живой.
Пришли в рождественской сусали,
Рубинами усыпан крест,
Тут кардинал на кардинале,
И разругались из-за мест.
Кадили, мазали елеем,
Трясли божественной мошной,
А ликовавшим дуралеям —
Тем всыпали не по одной.
Так притча превратилась в басню:
Коль петь не можешь, молча пей.
Конечно, можно быть несчастней,
Но не придумаешь глупей.

(1967)

В ТЕАТРЕ

Хоть славен автор, он перестарался:
Сложна интрига, нитки тебея,
Крушит героев. Зрителю не жалко —
Пусть умирают. Жаль ему себя.
Герой кричал, что правду он раскроет,
Сразит злодея. Вот он сам — злодей.
Другой кричит. У нового героя
Есть тоже меч.

Нет одного — людей.

Хоть бы скорей антракт! Пить чай в буфете.
Забуть, как ловко валят хитреца.
А там и вешалка.

Беда в билете:

Раз заплатил — досмотришь до конца.

(1967)

* * *

Что за дурацкая игра!
Все только слышится и кажется.
А стих пристанет — до утра
Не замолчит и не отвяжется.
Другие спят, а ты не спи,
Как кот ученый на цепи.
Всю жизнь прожить в каком-то поезде,
Разгадывая стук колес,
Откроется и сразу скроется,
И ночью доведет до слез,
Послышится и померещится
Тень на стене, разводы, трещина.
Песчинки, сжатые в руке,
Слова о доблести, о храбрости.
А ты, как рыба на песке,
Все шевели сухими жабрами.

* * *

Быть может...

**Тогда мечта повелевала мной,
и я про все забыл; но поневоле
вдруг поражен был радостной весной,
смеявшейся на всем широком поле.**

**Темно-зеленые листья
из лопавшихся почек прорастали,
а желтые и красные цветы
полям живую радость придавали.**

**Был дождь похож на сотни ярких стрел,
в листве играло солнце так задорно,
и тополь зачарованно смотрел
на гладь реки, спокойной и просторной.**

**Пройдя так много тропок и дорог,
в весну я лишь взглядеться мог.
Я ей сказал: «Ты, к счастью, запоздала,
и вот могу я на тебя взглянуть!»
Потом, предавшись новой, небывалой
мечте, добавил тихо: «Снова в путь!
И юность нагоню когда-нибудь».**

* * *

**Однажды черт меня сподобил:
Я жил в огромном небоскребе.
Скребутся мыши, им не снится,
Что есть луна над половицей.
Метались этажи в ознобе.
Я не был счастлив в небоскребе,
Я не кивал пролетной птице,**

Я жил, как мышь под половицей.
Боюсь я слов больших и громких,
Куда тут «предки» и «потомки»,
Когда любой шальной мышонок,
Как сто веков, высок и громок.
В ознобе бьются линотипы,
Взлетают яростные скрипы.
И где уж догадаться мыши,
Что незачем скрестись на крыше!

* * *

Умрет садовник, что сажает семя,
И не увидит первого плода.
О, времени обманчивое бремя!
Недвижен воздух, замерла вода,
Роса, как слезы, связана с утратой,
Напоминает мумию кокон,
Под взглядом оживает камень статуй,
И ящерицы непостижен сон.
Фитиль уснет, когда иссякнет масло,
Ветра сотрут ступни горячей след.
Но нежная звезда давно погасла,
И виден мне ее горячий свет.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стихотворения Ильи Эренбурга неоднократно издавались при жизни автора. В творческом наследии писателя они характерно представляют ранний период его деятельности (стихи 1910—1923 гг.) и затем открывают этап, прочно связанный с антифашистской борьбой И. Эренбурга в предвоенные, военные и послевоенные годы (стихи 1938—1967 гг.). Всего при жизни Эренбурга вышло 24 сборника его стихотворений; включались они автором и в собрание сочинений в пяти томах (М., 1953—т. 4), и в собрание сочинений в девяти томах (М., 1964—т. 3). Наиболее важные из поэтических книг Эренбурга: «Стихи о канунах» (М., 1916), «Кануны» (Берлин, 1921), «Раздумья» (Рига, 1921; Пг., 1921), «Опустошающая любовь» (Берлин, 1922), «Звериное тепло» (Москва — Берлин, 1923), «Верность (Испания. Париж)» (М., 1941), «Стихи о войне» (М., 1943), «Дерево» (М., 1946), «Стихи 1938—1958» (М., 1959). Наиболее полной и тщательно выверенной (текстологически и хронологически) явилась посмертная публикация обширного поэтического наследия И. Эренбурга в книге: *Илья Эренбург. Стихотворения*. М., 1977. (Б-ка поэта. Большая серия). Высокий профессиональный уровень текстологической работы позволил именно это издание положить в основу настоящей книги. В отдельных случаях использованы также помещенные в названном издании примечания Н. Г. Захаренко.

В предлагаемом сборнике представлена только часть ранних стихотворений Эренбурга (1911—1923), отражающая отношение к России молодого поэта, вынужденного за связь с революционным движением эмигрировать за границу. Стихи Эренбурга 1938—1967 гг., за некоторыми исключениями, почти полностью вошли в настоящее издание. За пределами сборника оставлены

поэмы, трагедии и переводы Эренбурга, неоднократно публиковавшиеся в других изданиях.

Сокращения, принятые в примечаниях:

Собр. соч.—Илья Эренбург. Собр. соч. в 9-ти т. М., 1962—1967.

Стихотворения, БС — Илья Эренбург. Стихотворения. М., 1977. (Б-ка поэта. Большая серия).

Стихи...—Эренбург И. Стихи 1938—1958. М., 1959.
Верность...—Эренбург И. Верность (Испания. Париж). М., 1941.

1911—1923 гг.

Париж (с. 23). Впервые: Эренбург И. Я живу. Спб., 1911.

Сборник «Я живу» явился второй книгой Эренбурга. Первой был сборник «Стихи» (1910). «...Продано было всего шестнадцать экземпляров,—вспоминал позднее поэт.—Разбирая книги начинающих поэтов, Брюсов выделил «Вечерний альбом» Марины Цветаевой и мой сборник: «Обещает выработаться в хорошего поэта И. Эренбург». Я обрадовался и в то же время огорчился — стихи, вошедшие в сборник, мне перестали нравиться» (Собр. соч., т. 8, с. 77).

Возврат (с. 24). Впервые: Я живу. Стихотворение отражает период увлечения Эренбурга критикой цивилизации с позиций «естественной» жизни.

В «Письмах о русской поэзии» Н. Гумилев писал после выхода сборника «Я живу»: «И. Эренбург сделал большие успехи со времени выхода его первой книги. Теперь в его стихах нет ни детского богохульства, ни дешевого эстетизма, которые, к сожалению, уже успели отравить некоторых начинающих поэтов. Из разряда подражателей он перешел в разряд учеников и даже иногда вступает на путь самостоятельного творчества. В его терцинах есть подлинное ощущение языка, по-земному милого и слегка чудесного. Он умело соединяет лирический подъем с историзмом тем и почти никогда не возвышает голоса до крика. Конечно, мы вправе требовать от него еще большей работы и прежде всего над языком — но главное уже сделано: он знает, что такое стихи».

«Когда встают туманы злые...» (с. 25). Впервые: Эренбург И. Одуванчики. Париж, 1912. В книге «Лю-

ди, годы, жизнь» Эренбург писал: «...В годы, когда я складывался, мне было трудно рассуждать о Париже; я его и страстно любил, и не менее страстно ненавидел... Я перестал ходить на лекции: школой оказался Париж, школой хорошей, но суровой; я его часто проклинал — не потому, что моя жизнь была трудна, а потому, что Париж заставил меня понять всю трудность жизни...» (Собр. соч., т. 8, с. 87).

«Когда в Париже осень злая...» (с. 26). Впервые: Одуванчики.

России (с. 26). Впервые: Эренбург И. Будни. Париж, 1913. Вержболово — пограничная станция между Россией и Пруссией. Эренбург оценивал эти стихи как ученические и подражательные, но признавал, что «они довольно точно выражают душевное состояние тех лет» (Собр. соч., т. 8, с. 71).

«Я бы мог прожить совсем иначе...» (с. 27). Впервые: Будни.

О Москве (с. 27). Впервые: Будни.

Вздохи из чужбины (с. 28). Впервые: Русское богатство, 1913, № 4. Вандомская колонна — памятник на Вандомской площади в Париже, воздвигнутый в честь побед Наполеона I. Тюльери (Тюильри) — в прошлом королевский дворец (часть Лувра), частично сгоревший во время Парижской коммуны и превращенный в сад. В книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург цитировал одобрительный отзыв В. Г. Короленко об этих стихотворениях (Собр. соч., т. 8, с. 79).

Канун (с. 29). Впервые: Эренбург И. Стихи о канунах. М., 1916. В первом издании отсутствовали две последние строки. Успение — согласно религиозной легенде, день смерти богородицы (15 августа). В «Стихах о канунах», по собственному признанию писателя, он впервые «говорил своим собственным голосом» (Собр. соч., т. 8, с. 84). 1916 год Эренбург называл «буйным кануном».

В вагоне (с. 30). Впервые: Стихи о канунах, под заглавием «Nature morte». Последние две строчки отражали ощущение надвигающихся перемен и характерное для предреволюционных лет ожидание конца старого мира. «Всего более,— писал о стихах Эренбурга этих лет В. Брюсов,— привлекают внимание И. Эренбурга гнойники верхов современной культуры. Выследить все позорное и низменное, что таится под блеском современной европейской утонченности,— вот задача, которую (сознательно или бессознательно) ставит себе

молодой поэт. И он, с решимостью хирурга, вскрывающего злокачественный нарыв, обнажает в своих — не поющих — стихах и тайные порывы собственной души, в которых не каждый решится сознаться, и все то низменное и постыдное, что скрыто под мишурой нашей благовоспитанности и культуры» (Русские ведомости, М., 1916, № 155).

Пугачья кровь (с. 31). Впервые: Стихи о канунах. На Болоте стоит Москва — имеется в виду Болотная площадь в Москве (ныне площадь Репина), на которой в январе 1775 года при большом стечении народа был казнен Е. И. Пугачев. Чистый четверг — четвертый день страстной недели; в этот день в вечернюю службу в церквях читались двенадцать евангелий.

«Наши внуки будут удивляться...» (с. 32). Впервые: в однодневной газете «День пролетарской культуры», Киев, 1919, 6 апреля. Затем в сб.: Огонь. Сто стихотворений. Сост. А. Ярцев. Тверь, 1923. Это стихотворение приводится в мемуарах Эренбурга «Люди, годы, жизнь» в знак того, что в эти годы «тон» его стихотворений «изменился» (Собр. соч., т. 8, с. 297).

«Я не знаю грядущего мира...» (с. 34). Впервые: Эренбург И. В звездах. Роман в стихах. Киев, 1919 (гл. 28).

«Ветер летит и стонет...» (с. 34). Впервые: Эренбург И. Раздумья. Рига, 1921. Затем в сб.: Эренбург И. Кануны. Берлин, 1921. В предисловии к «Канунам» И. Эренбург определял свое восприятие эпохи как эпохи «великих канунов». Как бы ни менялись идеи и образы, слова и суждения, «голос оставался неизменным, выражая все те же восторг и ужас перед современностью», — писал он о себе (Кануны. Берлин, Мысль, 1921, с. 3). Архангел — в христианской и иудейской религии посланец бога, высший посредник между богом и людьми. Саваоф — одно из библейских наименований бога-вседержителя; высшее существо в религиозной (христианской и иудейской) иерархии.

«Кому предам прозренья этой книги!..» (с. 35). Впервые: Раздумья. Мой век среди растущих вод... — поэтическое преломление библейской легенды о всемирном потопе. Земли уж близкой не увидит, Масличной ветви не поймет... — Согласно легенде, голубка, выпущенная Ноем, вернулась с масличной ветвью в клюве — знак того, что обнажилась суша. В период создания стихотворений, которые были объединены автором в сборнике «Раздумья» (1921), Эренбургу казалось, что «самое

главное было понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называли «историей», убедиться, что происходящее не страшный, кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, а рождение нового мира с другими понятиями человеческих ценностей, то есть перешагнуть из XIX века, в котором, сам того не сознавая, я продолжал жить, в темные сени иной эпохи» (Собр. соч., т. 8, с. 309).

«Я не трубач — труба. Дуй, Время!..» (с. 36). Впервые: Кануны.

«Будет день — и станет наше горе...» (с. 37). Впервые: Кануны. Скрижали дикого Синая... — По библейской легенде, на горе Синай богом были вручены Моисею скрижали — каменные доски с начертанными на них десятью заповедями; в переносном смысле — вечная летопись, хранящая записи о событиях, идеях, именах. Суламита, иначе Суламифь — героиня «Песни песней», одной из книг Ветхого завета; девушка, которую полюбил царь Соломон, но которая сохранила привязанность к своему возлюбленному, простому пастуху.

«Тяжелы несжатые поля...» (с. 38). Впервые: Э р е н б у р г И. Опустошающая любовь. Берлин, 1922. В Брюсов писал в рецензии на «Опустошающую любовь»: «Общий смысл книги дан в ее заглавии. Октябрьская революция была для России «опустошающей любовью», эта любовь спасает и спасет Россию, тогда как для «испеленной» Европы спасения нет» (Б р ю с о в В. Среди стихов.— Печать и революция, 1923, № 1, с. 73). Нерукотворный Лик — образ, изображение Христа; по христианской легенде, исходным образцом для него послужил отпечаток лица Христа, чудесным образом оставшийся на погребальном покрывале. Весталка — в Древнем Риме жрица в храме богини Весты; весталки избирались из девочек знатных семей и были обязаны сохранять девственность.

«Что седина! Я знаю полдень смерти...» (с. 38). Впервые: Опустошающая любовь.

«Так умирать, чтоб бил озноб огни...» (с. 39). Впервые: Поэты наших дней. М., 1924, с. 101. Впоследствии Эренбург писал о своей жизни осенью 1923 года: «Шагая по длинным улицам Берлина, удивительно похожим одна на другую, я иногда сочинял стихи, которые потом не печатал... Форма как будто была заемной — пастернаковской, но содержание моим: я продолжал работать, бушевать и, разумеется, иронизировать, а на сердце скребли кошки» (Собр. соч., т. 8, с. 446).

«Нет, не забыть тебя, Мадрид...» (с. 40). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8. Стихотворение входило в цикл «Испанские стихи», знаменовавший начало нового поэтического периода в творчестве Эренбурга. И сколько будет эта мать *Не* понимать и обнимать? — В этих строчках отразилось одно из сильнейших впечатлений Эренбурга от бомбежек, виденных в Испании. В Хазне (город на юге Испании) «я видел сцену,— писал впоследствии поэт,— которую мучительно вспоминаю даже после последней войны, после всего, что мы нагладелись. Осколок бомбы сорвал голову девочки. Мать сошла с ума — не хотела отдавать тело дочки, ползала по земле, искала голову, кричала: «Неправда! Она живая...» (Собр. соч., т. 9, с. 163). Карабанчель — рабочий район Мадрида.

«Говорит Москва» (с. 41). Впервые: Верность... После появления цикла «Испанские стихи» (см. выше) Эренбург опубликовал в журналах 1940 года «Парижские стихи» (30 дней, № 9-10; Звезда, № 10), «Война в Европе» (Знамя, № 11-12), стихи из книги «Верность» (Знамя, № 9). В начале 1941 года вышла книга стихотворений Эренбурга «Верность (Испания. Париж)». «Историческая реальность», отраженная в стихах об Испании,— отмечала критика,— реальность «кровавая и трагическая» (А к с е н о в И. Верность человечеству.— Звезда, 1941, № 9, с. 90). Однако Эренбург воспекает «верность всему подлинно человеческому» (В е н г р о в Н. Испания. Париж.— Знамя, 1942, № 1-2, с. 360).

«Парча румяных жадных богородиц...» (с. 41). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8. Эскуриала грузные гроба — образ дворца-монастыря Эскуриала (недалеко от Мадрида), в архитектурный комплекс которого входил «Пантеон королей».

«Сердце, это ли твой разгон!..» (с. 42). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8. Боям на Арагонском фронте (северо-восток Испании) посвящено несколько глав в книге И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (кн. 4): «Мы ехали по каменной рыже-розовой пустыне Арагона. Стоял нестерпимый зной: для меня это было первое испанское лето...» (Собр. соч., т. 9, с. 102).

«Тогда восстала горная порода...» (с. 42). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8. О горняках Линареса (город на юге Испании) Эренбург вспоминал в книге «Люди, годы, жизнь» в связи с описанием боев под городом Посо-

бланко (см.: Собр. соч., т. 9, с. 162—163). Рио-Тинто — промышленный город на юге Испании.

Бой быков (с. 43). Впервые: Звезда, 1940, № 10.

«Крепче железа и мудрости глубже...» (с. 44). Впервые: Звезда, 1940, № 10.

«Нет, не зеницу ока и не камень...» (с. 44). Впервые: Звезда, 1940, № 10.

«Батарейю скрывали оливы...» (с. 45). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8.

«Разведка боем» — два коротких слова...» (с. 46). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8. В Испании, вспоминал в книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург, «я писал стихи о различных событиях, которые до того описывал в газете и о которых упоминал в этой книге; писал, конечно, по-другому. Возле Мората-да-Тахунья бригада Лукача произвела разведку боем; это была трудная операция, стоившая многих жертв» (Собр. соч., т. 9, с. 208).

В Барселоне (с. 46). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8. Описанию Барселоны, столицы Каталонии, где активно разрывались революционные события, посвящены многие главы книги «Люди, годы, жизнь» (см. кн. 4). Рамбле — главная улица Барселоны.

У Брунете (с. 47). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8. В районе испанского города Брунете в 1937 году шли ожесточенные бои. Эренбург был в Брунете в разгар боев, куда ездил вместе с Вс. Вишневским и В. Ставским (об этой поездке см.: Собр. соч., т. 9, с. 175—176).

Русский в Андалузии (с. 48). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8. В основу стихотворения легли впечатления о похоронах русского летчика в испанской деревне (см.: Собр. соч., т. 9, с. 209).

У Эбро (с. 49). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8. На Эбро (река на северо-востоке Испании) в конце июля 1938 года развернулось серьезное наступление республиканских войск, «долгое и кровопролитное сражение. Я дважды был на правом берегу Эбро,— писал в книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург,— видел различные бои...» (Собр. соч., т. 9, с. 202—203).

«Горят померанцы, и горы горят...» (с. 49). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8. Сьерра-Морена — горы на юге Испании.

Гончар в Хаэне (с. 50). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8. «В Хаэне меня заставили говорить о Маяковском; началась бомбежка, никто не двинулся с места, продолжали жадно слушать. А бомбили Хаэн сильно...» (Собр. соч., т. 9, с. 163).

«В кастильском нищенском селенье...» (с. 51). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8. В книге «Люди, годы, жизнь» И. Эренбург неоднократно упоминает об успехе фильма «Чапаев» в революционной Испании: «Еще из Мадрида я сообщил в Москву, что хочу оборудовать грузовик, работать на фронте с кинопередвижкой и типографией; просил мне помочь, прислать фильмы «Чапаев» и «Мы из Кронштадта». В Париже меня вызвали в банк — Союз писателей перевел сумму на покупку грузовика... С помощью французов я купил грузовик, достаточно сильный, чтобы проходить по разбитым фронтовым дорогам...» (Собр. соч., т. 9, с. 119, 129).

«Додумать не дай, оборви, молю, этот голос...» (с. 52). Впервые: Эренбург И. Дерево. М., 1946.

«Сочится зной сквозь крохотные ставни...» (с. 52). Впервые: Звезда, 1940, № 10.

«Как восковые, отекли камельи...» (с. 53). Впервые: Верность... Летейские воды — от Леты. Согласно греческой мифологии, Лета — река забвения в подземном царстве мертвых.

Монруж (с. 54). Впервые: Звезда, 1940, № 10. Монруж — район Парижа.

«Не торопясь, внимательный биолог...» (с. 54). Впервые: Звезда, 1940, № 10.

«На ладони — карта, с малолетства...» (с. 55). Впервые: Звезда, 1940, № 10.

«Сбегают с гор, грозят и плачут...» (с. 55). Впервые: Верность...

«Не здесь, на обломках, в походе, в окопе...» (с. 56). Впервые: Новый мир, 1941, № 5.

«Жилье в горах — как всякое жилье...» (с. 56). Впервые: Верность..., под заглавием «В Савойе».

«По тихим плитам крепостного плаца...» (с. 57). Впервые: Знамя, 1940, № 9. В связи с этим стихотворением Эренбург в книге «Люди, годы, жизнь» так писал о своем состоянии летом 1939 года, после поражения революции в Испании и жизни в предвоенном Париже: «У меня больше не было той «видимости точной и срочной работы», которая освобождает человека от чересчур трудных раздумий. Где-то на полустанке жизни, между двумя войнами, не зная, что нам предстоит, я задумался над своей судьбой...» (Собр. соч., т. 9, с. 231).

«Есть перед боем час — всё выжидает...» (с. 57). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8.

«Все проста: стекольные осколки...» (с. 58). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8.

«О той надежде, что зову я вещей...» (с. 58). Впервые: Знамя, 1940, № 9.

На митинге (с. 59). Впервые: Знамя, 1940, № 9.

«Ты тронул ветку, ветка зашумела...» (с. 59). Впервые: Знамя, 1940, № 9. Под заглавием «Старому другу».

«Бомбы осколок. Расщеплены двери...» (с. 60). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8.

Дыхание (с. 61). Впервые: Верность...

«Самоубийцею в ущелье...» (с. 61). Впервые: Верность... В связи с этим стихотворением Эренбург позднее вспоминал, как в 1938 году в Испании он писал «об эпохе, о бурном горном потоке, который потом становится широкой плавной рекой; пытался утешить себя...» (Собр. соч., т. 9, с. 210).

У приемника (с. 62). Впервые: Верность..., под заглавием «У радиоприемника».

«Я должен вспомнить — это было...» (с. 63). Впервые: Знамя, 1939, № 7-8.

Верность (с. 63). Впервые: Знамя, 1940, № 9. Верность — августа слава и дым... — см. воспоминания о боях в Испании в августе 1936 года. («Люди, годы, жизнь», кн. 4).

В январе 1939 (с. 64). Впервые: Ленинградская правда, 1939, 22 июля. В основу стихотворения легли впечатления о поражении Испании (см.: «Люди, годы, жизнь», кн. 4, гл. 33).

После... (с. 65). Впервые: Верность... Куэнка — город и провинция в центральной Испании. Малага — город и провинция на юге Испании.

«Бои забудутся, и вечер щедрый...» (с. 65). Впервые: Ленинградская правда, 1939, 22 июля.

«Чем расставанье горше и труднее...» (с. 66). Впервые: Знамя, 1940, № 9.

«Пред зрелищем небес, пред мира ширью...» (с. 66). Впервые: Знамя, 1940, № 9.

«Ты вспомнил все. Остыла пыль дороги...» (с. 67). Впервые: Знамя, 1940, № 9.

Воздушная тревога (с. 67). Впервые: Знамя, 1940, № 11-12, под заглавием «Ночная тревога».

«Мы жили в те воинственные годы...» (с. 68). Впервые: День поэзии. М., 1971.

«Я знаю: будет золотой и долгий...» (с. 69). Впервые: День поэзии. М., 1971.

«В городе брошенных душ и обид...» (с. 69). Впервые: Звезда, 1940, № 10. В книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург писал о событиях июня 1940 года: «Начался исход

парижан... Париж напоминал брошенный впопыхах дом... Я понимал, что прощаюсь со многим...» («Люди, годы, жизнь», кн. 4, гл. 37).

«Кончен бой. Над горем и над славой...» (с. 70). Впервые: Знамя, 1940, № 9.

«Как эти сосны и строенья...» (с. 70). Впервые: 30 дней, 1940, № 9-10.

«Где играли тихие дельфины...» (с. 70). Впервые: 30 дней, 1940, № 9-10.

«Города горят. У тех обид...» (с. 71). Впервые: Знамя, 1940, № 11-12.

Возле Фонтенбло (с. 72). Впервые: Знамя, 1940, № 9. В книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург писал: «Я вижу Париж в июне 1940 года; это был мертвый город, и его красота доводила меня до отчаяния; ни машины, ни суета магазинов, ни прохожие больше на заслоняли зданий — тело, с которого сбросили одежду, или, если угодно, скелет с суставами улиц. Строившийся в разные века, объединенный не замыслом зодчего, не вкусами одной эпохи, а преемственностью, характером народа, Париж напоминал каменный лес, из которого ушли мохнатые и пернатые жители» (Собр. соч., т. 9, с. 252). Фонтенбло — загородная резиденция французских королей.

«В лесу деревьев корни сплетены...» (с. 73). Впервые: Звезда, 1941, № 4.

«Был бомбой дом как бы шутя расколот...» (с. 73). Впервые: Звезда, 1940, № 10.

У приемника (с. 74). Впервые: Знамя, 1940, № 9.

Париж, 1940 (с. 74).

1. Впервые: Звезда, 1940, № 10. Стихи отражают впечатления Эренбурга об «исходе парижан» (см.: Собр. соч., т. 9, с. 249—251).

2. Впервые: Звезда, 1940, № 10, под заглавием «18 марта».

3. Впервые: 30 дней, 1940, № 9-10.

4. Впервые: Новый мир, 1941, № 5.

5. Впервые: Звезда, 1940, № 10, под заглавием «Памятники Парижа».

6. Впервые: Знамя, 1940, № 11-12.

7. Впервые: Знамя, 1940, № 9, под заглавием «Rue-Cherche-Midi».

8. Впервые: Звезда, 1941, № 4.

«Есть в хаосе самом высокий строй...» (с. 78). Впервые: Верность...

«Все за беспамятство отдать готов...» (с. 79). Впервые: Верность...

«Та заморская чужая сырость...» (с. 79). Впервые: Новый мир, 1971, № 1.

«Замерзшее окно как глаз слепца...» (с. 80). Впервые: Стихотворения, БС.

«Бродят Рахили, Хаимы, Лии...» (с. 80). Впервые: Верность...

«Белесая, как марля, мгла...» (с. 81). Впервые: Звезда, 1941, № 4.

«Не раз в те грозные, больные годы...» (с. 81). Впервые: Звезда, 1941, № 4.

Лондон (с. 82). Впервые: Звезда, 1941, № 4. Об этом стихотворении И. Эренбург писал в книге «Люди, годы, жизнь»: «По ночам я слушал передачи из Лондона на французском языке; помню позывные, похожие на короткий стук в дверь. Новости были невеселыми: немцы сильно бомбили Лондон. В одну из ночей я написал стихотворение, в котором признавался, что судьба Лондона мне близка» (Собр. соч., т. 9, с. 261). Парки (античн. миф) — богини человеческой судьбы, изображались в виде трех старух, прядущих нить жизни.

1941 (с. 82). Впервые: Правда, 1942, 7 декабря, под заглавием «Русская земля».

«Привели и застрелили у Днепра...» (с. 83). Впервые: Новый мир, 1943, № 2-3, под заглавием «Киев».

Убей! (с. 84). Впервые: Знамя, 1943, № 1.

«Наступали. А мороз был крепкий...» (с. 84). Впервые: Эренбург И. Стихи о войне. М., 1943.

Ненависть (с. 85). Впервые: Знамя, 1943, № 1.

«Знакомые дома не те...» (с. 86). Впервые: Стихи о войне.

«Они накиннулись, неистовы...» (с. 86). Впервые: Новый мир, 1943, № 2-3.

«Настанет день, скажи — неумолимо...» (с. 86). Впервые: Стихи о войне.

«Большая черная звезда...» (с. 87). Впервые: Литература и искусство, 1942, 12 декабря, под заглавием «Декабрь 1941 года».

«Так ждать, чтоб даже память вымерла...» (с. 88). Впервые: Стихи о войне.

«Он пригорюнится, притулится...» (с. 89). Впервые: Стихи о войне.

«Когда закончен бой, присев на камень...» (с. 89). Впервые: Знамя, 1943, № 1.

«На небо зенитки смотрят зорко...» (с. 90). Впервые: Стихи о войне.

«С ручной гранатой иль у пушки...» (с. 90). Впервые: Знамя, 1943, № 1.

«Когда враждебным небо стало...» (с. 91). Впервые: Стихи о войне.

«Зайдешь к танкистам, и в чужой землянке...» (с. 91). Впервые: Знамя, 1943, № 1.

«Был лютый мороз. Молодые солдаты...» (с. 92). Впервые: Красная звезда, 1942, 29 ноября, под заглавием «Был лютый мороз...».

«Бывала в доме, где лежал усопший...» (с. 92). Впервые: Октябрь, 1943, № 2.

«Я помню — был Париж. Краснели розы...» (с. 93). Впервые: Новый мир, 1943, № 2-3.

«По рытвинам, среди мусора и пепла...» (с. 94). Впервые: Собр. соч., т. 9.

«В росчерк спички он, глумясь, вложил...» (с. 94). Впервые: Литературная Россия, 1971, 29 января.

«Все взорвали. Но гляди — среди щебня...» (с. 95). Впервые: Стихотворения, БС.

В Белоруссии (с. 95). Впервые: Новый мир, 1944, № 8-9.

«Было в жизни мало резеды...» (с. 96). Впервые: Красноармеец, 1945, № 3-4.

«Был час один — душа ослабла...» (с. 96). Впервые: Звезда, 1945, № 7. «Осенью 1943 года в Глухове, накануне освобожденном нашей армией, я увидел фруктовый сад, а в нем аккуратно подпиленные яблони; листья еще зеленели, на ветках были плоды» (Собр. соч., т. 8. с. 191). Глухов — город на Украине.

«Белеют мазанки. Хотели сжечь их...» (с. 96). Впервые: Новый мир, 1944, № 8-9.

«Запомни этот ров. Ты все узнал...» (с. 97). Впервые: Литература и искусство, 1944, 19 августа.

«Было в слове «русский» столько доброты...» (с. 97). Впервые: Литература и искусство, 1944, 19 августа.

«Скребет себя на пепле Иов...» (с. 97). Впервые: День поэзии. М., 1962. Скребет себя на пепле Иов — поэтическая метафора, опирающаяся на библейскую легенду. По этой легенде («Книга Иова» в Ветхом завете), бог, чтобы испытать веру Иова, послал ему тяжкие бедствия: лишившийся детей, состояния, дома, пораженный проказой, Иов должен был страдать от язв на чужом пепелище. Судьба Иова — символ испытаний, которые должен вынести человек, чтобы подтвердить свою стойкость.

Европа (с. 98). Впервые: Э р е н б у р г И. Свобода. Поэма. М., 1943, под заглавием «Посвящение». И плакал перед нею Глеб Успенский, А Гейне знал, что все слова

не те...— Отзвук сюжета очерка Г. Успенского (1843—1902) «Выпрямила», где со слов сторожа Лувра герой рассказывает о реакции Генриха Гейне на Венеру Милосскую: он «сидел по целым часам и плакал» перед нею.

«Были липы, люди, купола...» (с. 99). Впервые: Новый мир, 1944, № 8-9.

«Гляжу на снег, а в голове одно...» (с. 99). Впервые: Дерево.

«Есть время камни собирать...» (с. 100). Впервые: Дерево. Есть время камни собирать, И время есть, чтоб их кидать...— перефразировка библейского изречения из Екклезиаста.

«Слов мы боимся, и все же прощай...» (с. 100). Впервые: Новый мир, 1945, № 9.

«Ракеты салютов. Чем небо черней...» (с. 101). Впервые: Новый мир, 1945, № 1.

«Мир велик, а перед самой смертью...» (с. 101). Впервые: Звезда, 1945, № 7.

Бабий яр (с. 102). Впервые: Новый мир, 1945, № 1. Бабий яр — овраг в Киеве, где в сентябре 1941 года было расстреляно около 70 000 советских граждан. В этом же месте был затем расположен немецкий концлагерь, узники которого в августе — сентябре 1943 года были уничтожены.

«В это гетто люди не придут...» (с. 102). Впервые: Дерево.

«За то, что зной полуденный Эсфири...» (с. 103). Впервые: Дерево, под заглавием «В гетто».

Россия (с. 103). Впервые: Новый мир, 1971, № 1.

«Россия — в слове том не только славы...» (с. 104). Впервые: Литературная Россия, 1971, 29 января.

«Прости — одна есть рифма к слову «смерть»...» (с. 104). Впервые: Стихотворения, БС.

«Я не завидую ни долголетью дуба...» (с. 105). Впервые: Стихотворения, БС.

«Светлое поле. Вечер был светел...» (с. 105). Впервые: Новый мир, 1945, № 9.

Статуя Афродиты (с. 106). Впервые: Звезда, 1945, № 7.

«Была трава, как раб, распластана...» (с. 106). Впервые: Дерево.

«Когда я был молод, была уж война...» (с. 107). Впервые: Новый мир, 1945, № 9.

«Я смутно жил и неуверенно...» (с. 107). Впервые: Новый мир, 1945, № 9.

«Ты говоришь, что я замолк...» (с. 108). Впервые: Новый мир, 1945, № 9.

«Чужое горе — оно как овод...» (с. 108). Впервые: Новый мир, 1945, № 1.

«Мне было многое знакомо...» (с. 109). Впервые: Звезда, 1945, № 1.

«Будет солнце в тот день, или дождь, или снег...» (с. 109). Впервые: Новый мир, 1945, № 1.

В феврале 1945 (с. 110).

1. Впервые: Новый мир, 1945, № 1.

2. Впервые: Звезда, 1945, № 7.

«За что он погиб! Он тебе не ответит...» (с. 111). Впервые: Новый мир, 1945, № 9.

Ленинград (с. 111). Впервые: Новый мир, 1945, № 9.

«Когда она пришла в наш город...» (с. 112). Впервые: Звезда, 1945, № 7, под заглавием «Май 1945».

9 мая 1945 (с. 112).

1. Впервые: Новый мир, 1945, № 9.

2. Впервые: Новый мир, 1945, № 9.

3. Впервые: Новый мир, 1945, № 1.

«Умру — вы вспомните газеты шорох...» (с. 114). Впервые: Дерево.

«В печальном парке, где дрожит зола...» (с. 114). Впервые: Новый мир, 1971, № 1. Эпиграф — из стихотворения И. Анненского «Расе. Статуя мира».

«Во Францию два гренадера...» (с. 115). Впервые: Эренбург И. Сочинения в 5-ти т., т. 4. М., 1953. Первая (цитированная) строка — первая строка стихотворения Г. Гейне «Гренадеры» в пер. М. Михайлова.

Франция (с. 115). Впервые: Новый мир, 1971, № 1.

«Мне все мерещится одна...» (с. 117). Впервые: Новый мир, 1971, № 1.

У Ржева (с. 117). Впервые: Литературная Россия, 1971, 29 января.

«Я в море вижу не свободу...» (с. 119). Впервые: Стихотворения, БС.

«У маленькой речушки на закате...» (с. 120). Впервые: Новый мир, 1971, № 1.

«К вечеру улегся ветер резкий...» (с. 120). Впервые: Собр. соч. в 5-ти т., т. 4.

«Был тихий день обычной осени...» (с. 121). Впервые: Стихи...

«Ошибся — нужно повторить...» (с. 122). Впервые: Стихи...

«Есть надоедливая вдоволь повесть...» (с. 123). Впервые: Стихи...

«Ты помнишь, жаловался Тютчев...» (с. 123). Впервые

День поэзии. М., 1962. Цитата Тютчева — из стих. «Silentium!».

«В их мире замкнутом и спертом...» (с. 124). Впервые: Стихотворения, БС.

«Я смутно помню шумный перекресток...» (с. 125). Впервые: Стихи...

«Есть в севере чрезмерность, человеку...» (с. 125). Впервые: Стихи...

Дождь в Нагасаки (с. 126). Впервые: Литературная газета, 1959, 21 июля.

Товарищам (с. 127). Впервые: Там же, под заглавием «Товарищи».

Спутник (с. 127). Впервые: Стихи... Равенсбрук — фашистский женский концлагерь на территории Польши.

«Был пятый час среди январских сумерек...» (с. 129). Впервые: Стихи...

Верность (с. 129). Впервые: Стихи...

Самый верный (с. 130). Впервые: Стихи... В первоначальном варианте (хранится в личном архиве Эренбурга) был эпиграф: «Фомой-неверным называют человека, который не сразу верит тому, что ему рассказывают. Словарь» (Стихотворения, БС).

«Да разве могут дети юга...» (с. 131). Впервые: Литературная газета, 1959, 21 июля, под заглавием «Северная весна».

«Вчера казалась высохшей река...» (с. 132). Впервые: Стихи...

В Греции (с. 132). Впервые: Стихи...

В зоопарке Лондона (с. 133). Впервые: Стихи...

«Про первую любовь писали много...» (с. 135). Впервые: Стихи...

«Мы говорим, когда нам плохо...» (с. 135). Впервые: Стихи...

«Я слышу все — и горестные шепоты...» (с. 136). Впервые: Стихи...

«Над рукописью (с. 137). Впервые: Знамя, 1965, № 11.

Коровы в Калькутте (с. 137). Впервые: Знамя, 1965, № 11.

«Морили прежде в розницу...» (с. 138). Впервые: Знамя, 1965, № 11.

В Римском музее (с. 139). Впервые: Простор, 1966, № 1.

«Когда зима, берясь за дело...» (с. 140). Впервые: Простор, 1966, № 1.

Последняя любовь (с. 141). Впервые: Простор, 1966,

№ 1. Так с Тютчевым на склоне лет То необычное случилось...— имеется в виду «Последняя любовь» Тютчева к Е. А. Денисьевой. Уже скудела в жилах кровь...— измененная цитата из стих. Тютчева «Последняя любовь» («Пускай скудеет в жилах кровь, Но в сердце не скудеет нежность...»).

В Копенгагене (с. 141). Впервые: Простор, 1966, № 1. В королевстве Датском По-прежнему не все благополучно...— перефразировка реплики Горацио в трагедии Шекспира «Гамлет».

Сонет (с. 142). Впервые: Простор, 1966, № 1. Тинторетто Якопо (1518—1594) — итальянский живописец. В книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург писал: Тинторетто «было достаточно пальцев ноги, складок бархата, сползающего вниз, облака, куска стены, чтобы рассказать миру то, о чем начал вскоре писать Шекспир. В картинах Тинторетто — все элементы современного искусства...» (Собр. соч., т. 8, с. 102—103).

Старость (с. 142).

1. Впервые: Знамя, 1965, № 11.

2. Впервые: Знамя, 1965, № 11.

3. Впервые: Стихотворения, БС.

4. Впервые: Стихотворения, БС.

5. Впервые: Стихотворения, БС.

6. Впервые: Стихотворения, БС.

7. Впервые: Знамя, 1965, № 11.

8. Впервые: Знамя, 1965, № 11.

9. Впервые: Стихотворения, БС.

10. Впервые: Стихотворения, БС.

«Пять лет описывал не пестрядь быта...» (с. 147). Впервые: Собр. соч., т. 9. Имеются в виду мемуары «Люди, годы, жизнь», которые печатались в «Новом мире» в 1960—1965 гг. Янус (рим. миф.) — бог времени; изображался в виде человека с двумя лицами — одно было обращено в прошлое, другое в будущее. Истоптанный, но мыслящий тростник — «Мыслящий тростник» — известные слова французского философа Паскаля, символизирующие непрочность разумной жизни в физической Вселенной. Эренбург ссылается на эти слова в мемуарах «Люди, годы, жизнь» (Собр. соч., т. 8).

Над стихами Вийона (с. 148). Впервые: Собр. соч., т. 9. Франсуа Вийон (1431—1463?) — французский поэт, неоднократно изгонявшийся из Парижа, обвиненный в участии в убийстве, краже и т. п. Эренбургу принадлежит много переводов стихов Вийона (см. Стихотворения, БС). От жажды умираю над ручьем...— первая

строка из «Баллады поэтического состязания в Блуа», которую Эренбург приводит в своем переводе.

Надежда (с. 149). Впервые: Собр. соч., т. 9. Пандора — персонаж греческой мифологии; несмотря на запрет, открыла ящик, в котором были заключены все людские бедствия, и те распространились по земле; ящик захлопнулся только тогда, когда на дне его оставалась лишь надежда.

В костеле (с. 150). Впервые: Собр. соч., т. 9. Но те, что в сушь, в обрез, в огрыз...— имеются в виду ранние христиане. Назарет — место, где, по евангельскому преданию, прошло детство Иисуса Христа.

В театре (с. 151). Впервые: Собр. соч., т. 9.

«Что за дурацкая игра!..» (с. 151). Впервые: Новый мир, 1971, № 1.

«Быть может...» (с. 152). Впервые: Стихотворения, БС.

«Однажды черт меня сподобил...» (с. 152). Впервые: Стихотворения, БС.

«Умрет садовник, что сажает семя...» (с. 153). Впервые: Стихотворения, БС.

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Наровчатов. Илья Эренбург — поэт 5

1911—1923 гг.

Париж	23
Возврат	24
«Когда встают туманы злые...»	25
«Когда в Париже осень злая...»	26
России	26
«Я бы мог прожить совсем иначе...»	27
О Москве	27
Вздохи из чужбины	28
Канун	29
В вагоне	30
Пугачья кровь	31
«Наши внуки будут удивляться...»	32
«Я не знаю грядущего мира...»	34
«Ветер летит и стонет...»	34
«Кому предам прозренья этой книги?...»	35
«Я не трубач — труба. Дуй, Время!..»	36
«Будет день — и станет наше горе...»	37
«Тяжелы несжатые поля...»	38
«Что седина? Я знаю полдень смерти...»	38
«Так умирать, чтоб бил озноб огни...»	39

1938—1967 гг.

«Нет, не забыть тебя, Мадрид...»	40
«Говорит Москва»	41
«Парча румяных жадных богородиц...»	41
«Сердце, это ли твой разгон?...»	42
«Тогда восстала горная порода...»	42
Бой быков	43
«Крепче железа и мудрости глубже...»	44

«Нет, не зеницу ока и не камень...»	44
«Батарейю скрывали оливы...»	45
«Разведка боем» — два коротких слова...»	46
В Барселоне	46
У Брунете	47
Русский в Андалузии	48
У Эбро	49
«Горят померанцы, и горы горят...»	49
Гончар в Хаэне	50
«В кастильском нищенском селенье...»	51
«Додумать не дай, оборви, молю, этот голос...»	52
«Сочится зной сквозь крохотные ставни...»	52
«Как восковые, отекли камельи...»	53
Монруж	54
«Не торопясь, внимательный биолог...»	54
«На ладони — карта, с малолетства...»	55
«Сбегают с гор, грозят и плачут...»	55
«Не здесь, на обломках, в походе, в окопе...»	56
«Жилье в горах — как всякое жильё...»	56
«По тихим плитам крепостного плеча...»	57
«Есть перед боем час — всё выжидает...»	57
«Все простота: стекольные осколки...»	58
«О той надежде, что зову я вещей...»	58
На митинге	59
«Ты тронул ветку, ветка зашумела...»	59
«Бомбы осколок. Расщеплены двери...»	60
Дыхание	61
«Самоубийцею в ущелье...»	61
У приемника («Был скверный день, ни отдыха, ни мира...»)	62
«Я должен вспомнить — это было...»	63
Верность	63
В январе 1939	64
После...	65
«Бои забудутся, и вечер щедрый...»	65
«Чем расставанье горше и труднее...»	66
«Пред зрелищем небес, пред мира ширью...»	66
«Ты вспомнил все. Остыла пыль дороги...»	67
Воздушная тревога	67
«Мы жили в те воинственные годы...»	68
«Я знаю: будет золотой и долгий...»	69
«В городе брошенных душ и обид...»	69
«Кончен бой. Над горем и над славой...»	70
«Как эти сосны и строенья...»	70
«Где играли тихие дельфины...»	70
«Города горят. У тех обид...»	71
Возле Фонтенбло	72

«В лесу деревьев корни сплетены...»	73
«Был бомбой дом как бы шутя расколот ..»	73
У приемника («Над крышами Парижа весна не зашумит...»)	74
Париж, 1940	74
1. «Умереть и то казалось легче...»	74
2. «Не для того писал Бальзак...»	75
3. «Глаза погасли, и холод губ...»	75
4. «Упали окон вековые веки...»	76
5. «Номера домов, имена улиц...»	76
6. «Уходят улицы, узлы, базары...»	77
7. «Над Парижем грусть. Вечер долгий...»	77
8. «Как дерево в большие холода...»	78
«Есть в хаосе самом высокий строй...»	78
«Все за беспамятство отдать готов...»	79
«Та заморская чужая сырость...»	79
«Замерзшее окно как глаз слепца...»	80
«Бродят Рахили, Хаимы, Лии...»	80
«Белесая, как марля, мгла...»	81
«Не раз в те грозные, большие годы...»	81
Лондон	82
1941	82
«Привели и застрелили у Днепра...»	83
Убей!	84
«Наступали. А мороз был крепкий...»	84
Ненависть	85
«Знакомые дома не те...»	86
«Они накинулись, неистовы...»	86
«Настанет день, скажи — неумолимо...»	86
«Большая черная звезда...»	87
«Так ждать, чтоб даже память вымерла...»	88
«Он пригорюнится, притулится...»	89
«Когда закончен бой, присев на камень...»	89
«На небо зенитки смотрят зорко...»	90
«С ручной гранатой иль у пушки...»	90
«Когда враждебным небо стало...»	91
«Зайдешь к танкистам, и в чужой землянке...»	91
«Был лютый мороз. Молодые солдаты...»	92
«Бывало в доме, где лежал усопший...»	92
«Я помню — был Париж. Краснели розы...»	93
«По рытвинам, средь мусора и пепла...»	94
«В росчерк спички он, глумясь, вложил...»	94
«Все взорвали. Но гляди — средь щебня...»	95
В Белоруссии	95
«Было в жизни мало резеды...»	96
«Был час один — душа ослабла...»	96
«Белеют мазанки. Хотели сжечь их...»	96

«Запомни этот ров. Ты все узнал...»	97
«Было в слове «русский» столько доброты...»	97
«Скребет себя на пепле Иов...»	97
Европа	98
«Были липы, люди, купола...»	99
«Гляжу на снег, а в голове одно...»	99
«Есть время камни собирать...»	100
«Слов мы боимся, и все же прощай...»	100
«Ракеты салютов. Чем небо черней...»	101
«Мир велик, а перед самой смертью...»	101
Бабий яр	102
«В это гетто люди не придут...»	102
«За то, что зной полуденный Эсфири...»	103
Россия	103
«Россия — в слове том не только славы...»	104
«Прости — одна есть рифма к слову «смерть»...»	104
«Я не завидую ни долголетью дуба...»	105
«Светлое поле. Вечер был светел...»	105
Статуя Афродиты	106
«Была трава, как раб, распластана...»	106
«Когда я был молод, была уж война...»	107
«Я смутно жил и неуверенно...»	107
«Ты говоришь, что я замолк...»	108
«Чужое горе — оно как овод...»	108
«Мне было многое знакомо...»	109
«Будет солнце в тот день, или дождь...»	109
В феврале 1945	110
1. «День придет, и славок громкий хор...»	110
2. «Мне снился мир, и я не мог понять...»	110
«За что он погиб? Он тебе не ответит...»	111
Ленинград	111
«Когда она пришла в наш город...»	112
9 мая 1945	112
1. «О них когда-то горевал поэт...»	112
2. «Она была в линялой гимнастерке...»	113
3. «Прошу не для себя, для тех...»	113
«Умру — вы вспомните газеты шорох...»	114
«В печальном парке, где дрожит зола...»	114
«Во Францию два гренадера...»	115
Франция	115
1. «Дорога вьется, тянет, тянется...»	115
2. «Читаешь, пишешь, говоришь...»	116
«Мне все мерещится одна...»	117
У Ржева	117
1. «Трагедия закончена — так пишут...»	117
2. «Могила солдата, а имени нет...»	118

3. «Прохожий, подойди. Лежим в могиле братской...» . . .	118
«Я в море вижу не свободу...»	119
«У маленькой речушки на закате...»	120
«К вечеру улегся ветер резкий...»	120
«Был тихий день обычной осени...»	121
«Ошибся — нужно повторить...»	122
«Есть надоедливая вдоволь повесть...»	123
«Ты помнишь, жаловался Тютчев...»	123
«В их мире, замкнутом и спертном...»	124
«Я смутно помню шумный перекресток...»	125
«Есть в севере чрезмерность, человеку...»	125
Дождь в Нагасаки	126
Товарищам	127
Спутник	127
«Был пятый час среди январских сумерек...»	129
Верность	129
Самый верный	130
«Да разве могут дети юга...»	131
«Вчера казалась высохшей река...»	132
В Греции	132
В зоопарке Лондона	133
«Про первую любовь писали много...»	135
«Мы говорим, когда нам плохо...»	135
«Я слышу все — и горестные шепоты...»	136
Над рукописью	137
Коровы в Калькütte	137
«Морили прежде в розницу...»	138
В Римском музее	139
«Когда зима, берясь за дело...»	140
Последняя любовь	141
В Копенгагене	141
Сонет	142
Старость	142
1. «Все призрачно, и свет ее неярк...»	142
2. «Молодому кажется, что к старости...»	143
3. «...И уж не золотом по черни...»	143
4. «Устала и рука. Я перешел то поле...»	144
5. «Позабить на одну минуту...»	144
6. «Пора признать — хоть вой, хоть плачь я...»	145
7. «Из-за деревьев и леса не видно...»	145
8. «Не время года эта осень...»	146
9. «Свет погас...»	146
10. «Мое уходит поколенье...»	147
«Пять лет описывал не пестрядь быта...»	147
Над стихами Вийона	148
Надежда	149

В костеле	150
В театре	151
«Что за дурацкая игра?..»	151
«Быть может...»	152
«Однажды черт меня сподобил...»	152
«Умрет садовник, что сажает семья...»	153
Примечания	154

Илья Григорьевич Эренбург СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор **Т. М. Мугуев**
Художественный редактор **Е. Ф. Николаева**
Технический редактор **Р. Д. Каликштейн**
Корректор **Н. В. Бокша**

ИБ № 2826

Сдано в набор 06.05.82. Подписано в печать 22.10.82. Формат 70×90/32.
Бум. тип. № 1. Гарнитура журн.-русл. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,44.
Усл. кр.-отт. 6,74. Уч.-изд. л. 7,83. Тираж 25 000 экз. Заказ № 449.
Цена 90 к. Изд. инд. ЛХП—141.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва,
пр. Сапунова, д. 13/15.

Набрано фотонабором и отпечатано с фотополимерных форм в Сор-
тавальской книжной типографии Государственного комитета Карельской
АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Сорта-
вала, ул. Карельская, 42.

